

ВЕСТНИК
ШКОЛЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Общая тетрадь



Москва 2019

Издание выходит
раз в квартал

Редакционный совет:

А.Н. Архангельский

И.М. Бусыгина

С.А. Васильев

А.В. Макаркин

М. Мертеc (ФРГ)

С.В. Мошкин

Е.М. Немировская

В.А. Рыжков

Ю.П. Сенокосов

А.Ю. Согомонов

А. Хиль-Роблес (Испания)

Дж. Хоскинг (Великобритания)

Главный редактор *Ю.П. Сенокосов*

Ответственный секретарь *С.А. Максимов*

Верстка *В.А. Козак*

*Издание этого номера журнала осуществлено при поддержке
НО «Благотворительный фонд культурных инициатив (Фонд Михаила Прохорова)»
и частных пожертвований.*

Содержание

№ 3–4(77) 2019

К читателю

Юрий Сенокосов 5

Тема номера

Идея Европы 7

Владимир Малахов

Глобальный мир: эмоции, интересы, ценности 19

Петр Свистальский

Гражданское просвещение: публичное пространство

Лена Немировская, Ирина Прохорова, Алексей Макаркин, Андрей Колесников,

Григорий Юдин, Максим Горюнов, Александр Шмелев 27

Вызовы и угрозы

*Когда правоохранительные органы
выходят из-под контроля в либеральных демократиях* 36

Инна Березкина

Упадок либерализма. Что делать? 40

Тимоти Гартон-Эш

Раскол среднего класса 48

Андрей Колесников

Дискуссия

Преодолевая разногласия на разделенном континенте 53

Микаэль Мертес

Самоограничение власти как моральный и персональный выбор 63

Леон Арон

Экономика и общество

Нордическая модель – пример Швеции 70

Михаэль Сульман

Бизнес. Ответственность. Доверие 79

Сергей Петров

Гражданское общество

Будущее свободы и оппозиции в России
Владимир Рыжков 86

Гражданское общество появляется и исчезает
Алексей Левинсон 101

*Гражданское образование в истории
отечественной общественно-политической мысли*
Александр Согомонов 108

Точка зрения

Войны памяти
Сергей Медведев 146

Время памяти
Эльмира Ногойбаева 159

Горизонты понимания

*Неразрешимая политическая трилемма:
суверенитет, глобализация и демократия*
Роберт Скидельски 162

Наш анонс

Трансформации российской социальности в 1991–2018 годах
Алексей Левинсон 172

Книги

Чернобыль: чья это беда?
Андрей Захаров 179

Контрапункт
Юрий Сенокосов 182

Nota bene

Кубинский проект
Александр Казачков 189

Погружение во французскую общественную жизнь
Алексей Гусев 193

Содержание журнала «Общая тетрадь» за 2019 год 198

*В оформлении номера использованы работы авторов
из Испании, Италии, Кубы, Мексики, России, США, Уругвая, Франции.*

К читателю

Увы, сегодня снова актуален вопрос о транзите.

На первый взгляд, после продолжавшегося 70 лет революционного интернационального перехода от капитализма к коммунизму, а затем неудавшегося транзита от «развитого социализма» к демократии вопрос о транзите кажется абсурдным. Хотя бы потому, что ответ на него уже дан просвещенной Европой, исходя из убеждения в решающей роли разума и науки в познании «естественного порядка вещей», соответствующего природе человека и общества. Однако актуальность вопроса не исчезла, авторитарные и диктаторские режимы продолжают существовать. И если их транзит к демократии все же возможен, на что важно и нужно обращать внимание? На его форму или содержание, на теорию или практику? Не забывая, что транзитом (лат. *transitus* — переход, прохождение) историки называют и время перехода от Античности к Средним векам, от Средних веков к Новому времени и т.д. Переходное время по определению лишено однозначности.

Известно, что противопоставление объекта и субъекта — один из способов познания природы. А что касается общества, то здесь субъектом и одновременно объектом является человек, даже тогда, когда он познает сам себя, что предполагает иную, чем в естественных науках, систему абстракций, определений, допущений и теоретических посылок для исследования и понимания отношений между людьми. Например, в сфере права или медицины отношения возникают вокруг объекта, но участвуют в них только субъекты, принимающие решения. И значит, у познаваемой реальности (о человеке и его мире — социальном, культурно-историческом, психологическом) здесь тоже есть свой язык, но эта реальность в отличие от природы не дана познанию вне его. Ее нельзя



Юрий Сенокосов

наблюдать отдельно от ее же языка. А раз так, то нас заведомо не может не интересовать характер источников и происхождения наших знаний. Встает вопрос: как мы узнаем, откуда получаем нашу эмпирию? Стихийно, когда, не задумываясь, говорим: «в моей голове родилась мысль», «мозг мыслит». И тем самым, по словам Владимира Зинченко и Мераба Мамардашвили, воспроизводим «мифологию субъективности», которая может быть и научной, принимая во внимание, что «субъективная психическая реальность может переживаться и выражаться в терминах любой заимствованной механистической теории, теории “мыслящих машин” или, того хуже, “гибридного интеллекта”, вообще любого представления о человеке-машине. В этом случае в наблюдении мы будем получать сведения о том, что “мозг мыслит”, о том, что его “батареи разряжены” или что “его нужно подключить к источнику питания”»*.

Какие из этого можно сделать выводы? Во-первых, стремление к объективности понимания субъективной психической реальности порождает разные формы ее редукции. Любой психический процесс — *восприятие, мышление, память*, — существуя во времени, не существует в пространстве. Отсюда и возникает, по словам цитируемых авторов, идея поместить психическое в пространство мозга, как прежде помещали его в пространство сердца, печени, души. Ведь обыденному сознанию, которое «мыслит картинками», легче приписать нейрональным механизмам мозга свойства предметности, чем признать реальность субъективно-психического.

Во-вторых, об эмпирии — откуда и как ее получаем? Получаем необратимым образом в том смысле, что частица «со» в слове «со-знание» указывает на «измерение» невидимого, на факт вербализованного человеком знания в состоянии впечатления, подобном озарению, в котором оно получено. И получено необратимо. Природа, ставя перед нами препятствие необратимости, тем самым как бы подсказывает: вот это и есть ваша объективная самодействующая в виде озарения реальность, которую нужно отличать от языка, каким она выражена. Поэтому не стоит забывать об этом различии внутри самой субъективности, а не между ею и чем-то другим, находящимся вне ее.

В-третьих, субъективное «суждение», следовательно, как раз и включает в себя это различие в ситуации кризиса как «объекта» перехода. Когда свободная, не умершая в букве мысль из-за необратимости времени не исчезает, а становится историческим навигатором, определяющим движение европейской цивилизации во времени и пространстве. Или, другими словами, когда критика ведет нас к пониманию объективной природы кризиса.

* В.П. Зинченко, М.К. Мамардашвили. *Проблема объективного метода в психологии* // *Вопросы философии*. — М., 1976, № 7. — С. 112.

Идея Европы*

Я не стану утомлять вас рассуждениями на столь обширные темы, как греко-христианская или иудео-христианская цивилизация, роль Карла Великого или Пия XII в создании Европы. Я сосредоточусь на том, что мне кажется актуальным сегодня.

Европа, какой мы ее знаем сегодня, — довольно недавнее образование, восходящее к маю 1945 года. Изменение в самопонимании европейцев началось именно тогда. До 1945 года не было европейцев — были немцы, французы, итальянцы, шведы и другие. Мыслить себя в таких терминах, как «европеец», до конца Второй мировой войны мало кто отваживался. 1945 год стал цезурой между двумя способами воображения социальной реальности — националистическим, этатистски-националистическим, с одной стороны, и наднациональным, космополитическим, общечеловеческим — с другой.

1945 год стал толчком к радикальному дискурсивному сдвигу. Этот сдвиг шел по двум направлениям. Первое — *дискредитация расизма*. Если вы посмотрите на то, как говорили и писали европейские политики в 30–50-е годы, вы поразитесь, насколько их мышление было пронизано расизмом. Речь не только об одиозных личностях типа Гитлера и ему подобных. Скажем, Уинстон Черчилль не раз высказывался в том смысле, что некоторой части человечества просто по принципу цвета кожи выпало править всем остальным человечеством, что она его превосходит и что бремя белого человека в том и заключается — всем рулить. Посмотрите, к примеру, его выступления периода



*Владимир Малахов,
профессор,
директор Центра
теоретической и прикладной
политологии РАНХиГС
при Президенте РФ*

* Выступление на семинаре Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы в Сеговии (Испания) 29 мая 2019 г.

предвыборной кампании 1950 года. Многие тогдашние европейские политики еще не сомневались, что земли, на которых живут неевропейцы, можно объявлять колониями, протекторатами, подмандатными территориями. Однако уже после 1945 года этот дискурс умирает. Конечно, не сразу. Понадобился Нюрнбергский процесс, войны за освобождение Индии, Алжира и так далее. Но так или иначе триггером антиколониального и антирасистского понимания мирового устройства стало окончание Второй мировой войны. Сегодня расистом быть просто неприлично. Придерживаясь этих взглядов сегодня, вы становитесь нерукопожатным. Вам приходится все время оправдываться: нет, я не то имел в виду, меня оклеветали, у тех, кто упрекает меня в расизме, у самих рыльце в пушку и пр.

Это первое направление дискурсивного сдвига, о котором идет речь. Второе состоит в том, что *дискурс прав человека после 1945 года приобрел гегемониальный характер*. Гегемония в данном случае означает, что этому типу дискурса невозможно бросить вызов. Даже те люди, которые не приемлют его, не разделяют лежащих в его основе допущений, вынуждены строить свою аргументацию, исходя из его категорий. Даже припудренные неонацисты строят свою аргументацию не против прав человека, а за права человека. Они говорят: «Вы лишаете нас базового права — свободы мнения. У нас есть мнение, что Холокоста не было, что его придумали евреи. А вы нам мешаете высказывать наше мнение».

Итак, после 1945 года расистский дискурс был полностью делегитимирован, а дискурс национализма, я бы сказал, был релятивизирован. Произошла его

частичная делегитимация. Под национализмом я понимаю такое представление о мире, в котором национальные интересы стоят выше общечеловеческих ценностей. Националисты, конечно, после Второй мировой войны никуда не делись, но их позиции потеснили и им пришлось перегруппироваться. Как мы видим сегодня в том же Евросоюзе, националистические партии стараются выглядеть respectable-ными. Они отмежевываются от радикального национализма. Одерживают они при этом тактические победы или терпят поражение — вопрос отдельный. Но очевидно, что призрак национализма после 1945 года перестает быть доминирующим.

Сегодня это кажется почти естественным. Но насколько был болезненным процесс перехода от националистического взгляда на мир к альтернативному, я бы хотел показать на следующем примере. Это речь президента Федеративной Республики Германия Фридриха фон Вайцзеккера 8 мая 1985 года. Как мы понимаем, произнесена она была по случаю сорокалетия окончания войны. В несколько вольном переводе первые десять минут г-н Вайцзеккер говорит вот в каком духе. Дорогие соотечественники! Многие народы сегодня вспоминают о дне, когда окончилась война в Европе. Судьба у каждого пробуждает свои чувства по этому поводу: чувство победы или поражения. После достаточно длинного вступления, где-то минут через десять, он произносит: «8 мая 1945-го было днем освобождения», делает паузу и добавляет: «Освобождения от национал-социалистической диктатуры». В зале стоит гробовая тишина. Это прозвучало тогда едва ли не как откровение. Во всяком случае, это не было очевидно, не

выглядело как нечто само собой разумеющееся. Но за сорок лет, прошедших к тому моменту после 1945 года, выросло два поколения немцев, чем и был подготовлен дискурсивный сдвиг. Сдвиг заключается в том, что немцы начинают отмечать этот день — как и все остальные, вместе со всеми остальными — как день победы. Это победа морально вменяемого человечества над теми, кто встал на путь отрицания человеческих ценностей, кто сделал сознательный выбор в пользу зла, зная, что существует добро. Немецкое общество рассматривает сегодня эту победу как и свою победу, оно — на стороне победивших (хотя исходя из националистической логики — это просто абсурд).

Итак, однозначное дистанцирование от расизма и агрессивного национализма («органического» национализма, или, как его еще называют, *völkisch* — националистический, шовинистический — от слова *Volk* — народ, нация) — это то, что для сегодняшней Европы относится к числу абсолютных очевидностей.

Далее я позволю себе утверждать нечто менее очевидное. Та Европа, которую мы знаем сегодня, имела и второе рождение — это май 1968 года. Если бы не было мая 1968 года, то не было бы современной Европы. Она была бы другой. Я имею в виду, конечно, студенческую/молодежную революцию 1960-х (она же — бунт молодежи), пиком которой стали события мая 1968-го. Студенческое движение под радикально антикапиталистическими лозунгами охватило тогда не только Францию, но и другие европейские страны. Один из бесспорных лидеров этого движения в Германии — Руди Дучке. Во Франции к числу таких лидеров принадлежал Даниэль Кон-

Бендит («красный Дэни»). Он и его соратники вывели в мае 1968-го на улицы Парижа миллион человек, к студентам присоединились рабочие, была всеобщая стачка, в ней участвовали 10 миллионов французов. Все ждали прихода к власти коммунистов. Словом, серьезная история.

Прошло пятьдесят лет, юбилей «красного мая» отмечался в прошлом году. Было множество разных оценок, в том числе ироничных и скептических. Был фильм Бертолуччи, где чувствуется намек на то, что движение это было сугубо инфантильное, обусловленное возрастом, «играли гормоны». Это, конечно, сильное упрощение, если не клевета, потому что 1968 год стал триггером очень глубоких изменений как в представлениях людей, так и в их отношениях, то есть изменения институтов. Ведь что такое институты как не устойчивые отношения людей и их представления об этих отношениях?

Что стало с бывшими революционерами? Часть из них — очень немногочисленная — подалась в террористы. «Ячейки Красной армии» (RAF) в Германии, «Красные бригады» в Италии — это последние неудавшейся революции. Упертые маоисты и троцкисты пошли по пути террора, но все же они были горсткой. А Даниэль Кон-Бендит превратился в уважаемого политика, долгое время возглавлявшего фракцию «Зеленых» в Европарламенте. (Он, кстати, не так давно приезжал в Москву, и местные левые активисты во время его выступления подвергли его жуткому остракизму; Кон-Бендит вынужден был отшутиться — чувствуете себя в сегодняшней Москве, как в Париже в мае 1968 года.) Или Йошка Фишер, замеченный в те годы в мета-



Жан Пуни. Супрематистский рельеф. 1920

нии коктейлей Молотова в полицейских. Он тоже стал уважаемым политиком, был министром иностранных дел Германии в правительстве Шредера. В этой связи звучит аргумент, что бывшие лидеры студенческого движения продались, предали свои убеждения, примкнули к истеблишменту. Но это не совсем верно. В конце концов Йошка Фишер — это партия зеленых. Когда он ее создавал, ее сторонники казались чистыми фриками.

Но главное, что способствовало институциональному сдвигу — это то, что вчерашние революционеры после угасания протеста на рубеже 1960–1970-х пошли в преподавание, в адвокатуру, в СМИ. Они стали гимназическими учителями, университетскими преподавателями, издателями, телекомментаторами, театральными режиссерами, психологами и т.д. И их было так много, что общество изменилось. Уже в семидесятые запускаются процессы, которые нарастают лавинообразно. И Европа довольно быстро — хотя, разумеется, не в одночасье — стала просто неузнаваемой, если ее сравнить с той, что была в условном 1960 году.

Сегодня мы даже себе представить не можем, насколько она была другой. Насколько европейцы 1950-х годов были консервативны, насколько в обществах — голландском, шведском, немецком, британском — доминировал мачизм, милитаризм, патриархальное сознание. Если мы отмотаем воображаемую пленку до 1960 года, то сегодняшние консерваторы покажутся нам вольнодумцами. Скажем, отношение к добрачному сексу. Большинство консерваторов в наши дни скажут, что в этом в принципе нет ничего страшного. Или, скажем, женщина, делающая ка-

рьеру. Это в консервативном сознании как минимум допустимо. Полвека назад консерваторы думали совершенно иначе.

Но 1968 год, конечно, далеко не сводится к так называемой сексуальной революции. Благодаря той встряске общественного сознания, которую произвел 1968 год, медленно и верно утвердились многие представления, которые сегодня стали частью здравого смысла и политической повестки.

Схематично эту повестку можно выразить так.

Первое — антиавторитаризм. Это отношение к государству как к тирану, с которым нужно держать ухо востро, ибо он то и дело норовит лишить людей прав.

Второе — неприятие дискриминации. Это убеждение в том, что ограничение или отказ в доступе к социальным ресурсам на основе этнической, религиозной или какой-либо иной принадлежности неприемлемо. Люди равны не только на бумаге, но и на деле. К этнической, расовой, религиозной принадлежности со временем прибавится еще и сексуальная ориентация — поражение людей в правах на основании нетрадиционной ориентации тоже сделалось недопустимым. В 1960-е это особо не артикулировалось, но именно тогда процесс борьбы с дискриминацией сексуальных меньшинств был запущен. Важной частью политики стала, конечно, и борьба за гендерное равенство. Именно молодежной революцией 1960-х запускается мощнейшее феминистское движение последней трети XX века, которое продолжает набирать силу в XXI.

Третье — социальные права, социальная ответственность государства.

Государство — это не просто «ночной сторож», как полагают многие либералы, это честный арбитр в споре между трудом и капиталом.

И наконец, *четвертое*. Это защита климата, которая дала толчок идеологии зеленых. В 1970-е они казались чужаками, потом стали заметным, пусть и маргинальным игроком на политическом поле, а в 1990-е стали входить в состав правительств. В сегодняшней Европе это восходящая политическая сила.

Возвращаюсь к заголовку моего выступления. Конечно, идея Европы — вещь невозможная. Нет такой инстанции, от имени которой можно было бы сформулировать нечто, что не будет оспорено. Если угодно, идей Европы столько же, сколько участников публичных дискуссий. Но все же я попробую, обращаясь к сегодняшнему идеологическому полю, выделить два полюса, две парадигмы Европы.

Слева — социальная справедливость, справа — эффективность. Слева — убежденность в том, что те, кто уполномочен править, должны принимать и соблюдать социальные обязательства перед своими гражданами. Справа — те, кто убежден, что Европа есть участник глобальной конкуренции и эффективность здесь может быть достигнута за счет минимизации социальных обязательств государства. При этом некоторые будут фантастически богатеть, но остальные продолжат затягивать пояс. Между этими полюсами располагаются центристы — левоцентристы, правоцентристы. На последних выборах в Европарламент это легко было заметить. В этой схеме нет националистов — по той причине, что они в принципе не разделяют европей-

ский проект. Они считают, что Европу нужно вернуть в рамки национальных государств, что не должно быть единого центра правления. Националисты заимствуют аргументы из обеих приведенных парадигм, но в числе тем, которые их заботят, темы социальных прав и экономической эффективности далеко не на первом месте (на первом месте у них «безопасность» и «идентичность»).

Вы, наверное, обратили внимание, что я несколько раз употребил выражение «Европа, которую мы знаем сегодня». Уместен вопрос: а кто такие «мы» и что мы, собственно, знаем? Как российский гражданин не могу не задать вопрос: как выглядит Европа в сознании большинства россиян? Или: какой образ Европы транслируют сегодня капитаны российских медиа? (А коль скоро в России соотношение телезрителей и интернет-пользователей приблизительно 80:20, то вполне возможно, что большинство российских граждан этот образ разделяют.) Я думаю, что не сильно погрешу против истины, если скажу, что есть две картинки. Первая называется «гейропа», вторая — «еврабия». Картина первая: Европа, которая предала свои ценности. Однополые браки, разгулявшиеся феминистки, распоясавшиеся ЛГБТ-сообщества — в общем, полное моральное разложение. Картина вторая: Европа захлебывается, если уже не захлебнулась, под миграционным цунами. Понавпускали к себе непонятно кого, развели мультикультурализм, заигрались в толерантность. В итоге семимильными шагами происходит исламизация, а патриоты подвергаются остракизму, либеральному террору (он же — террор политкорректности).

Обе эти картинки — карикатуры, за которыми стоят (а) неинформированность, (б) отжившие нормативные представления и (в) фантазмы культурной чистоты.

Оставляя за скобками первую картинку, перейду ко второй — той, которая про иммиграцию, разгул мультикультурализма и исламизацию. Во-первых, иммиграция в Европу не является бесконтрольной. В одних странах миграционная политика более жесткая, в других более либеральная, но это не политика открытых дверей. Иммиграция регулируется, в определенной части даже поощряется, и это справедливо даже по отношению к ситуации 2015–2016 годов. Приведу несколько цифр. Соотношение ходатайств о предоставлении убежища на тысячу человек: Швеция — 16, Австрия — 10, Германия — 5,6, Франция — 1, Великобритания — 0,6, Венгрия — 18. В целом по ЕС — 2,6.

Кстати, о Венгрии. Знаете, сколько ходатаев получили убежище в этой стране? Чуть больше 30 человек.

Кроме того, нужно иметь в виду, что речь идет, как правило, не о постоянном жительстве, а о временном убежище беженцев. После войны в Югославии, например, немцы приняли около 300 тысяч хорватов и боснийцев, но после нормализации ситуации началась их репатриация, и большая часть беженцев вернулась на родину. Равным образом далеко не все из миллиона с небольшим беженцев из Сирии и других стран Ближнего Востока, которых приняла Германия в 2015–2016 годах, останутся там навсегда. Так что метафора цунами не совсем корректна. А если принять во внимание текущую демографическую

ситуацию, она и вовсе неуместна. Как вы думаете, какая в Германии смертность? Около миллиона человек умирает ежегодно. Получается, таким образом, что в период «миграционного кризиса» в страну въехало примерно столько же, сколько умерло. А сколько родилось? Родилось меньше, чем умерло. В Германии уже давно наблюдается отрицательный естественный прирост. Такая же ситуация в Швеции, Греции, Италии, Португалии, Венгрии, Чехии, Польше, Хорватии, Румынии, Болгарии и трех странах Балтии. На грани естественного прироста балансируют Австрия, Испания, Дания. В этих условиях европейские политики пришли к консенсусу, что миграционный приток необходим. Это чистая прагматика, тут даже никакой гуманитарной составляющей нет. И спор идет не о том, нужна или не нужна миграция, а насколько широко должны быть открыты для нее двери. Причем не только для трудовой, но и вынужденной миграции.

Между прочим, симптоматично, что весной 2016 года французские крайне правые из Национального фронта Марин Ле Пен обвиняли канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что она цинично использует беженцев для улучшения демографической ситуации. Потому что три четверти прибывших — это люди моложе 30 лет. По прогнозам МВФ, примерно к 2025 году те инвестиции, которые нужны для размещения, обучения, адаптации тех, кому позволят остаться, окупятся и станут серьезным ресурсом роста ВВП.

Теперь по поводу мультикультурализма. Вряд ли еще какое-либо слово обросло таким количеством разночтений, как «мультикультурализм». Связано это

с его многозначностью. У понятия есть как минимум 3 референта: (1) демографическая реальность, (2) идеология и (3) политика. Поясню. (1) Это слово может обозначать просто факт культурной неоднородности, когда население государства разнородно в этническом, языковом, религиозном отношениях).

(2) Оно описывает определенную идеологию. Если огрубить, оно означает, что общество состоит не из граждан, а из этнических групп, каждая из которых обладает набором культурных особенностей. Соответственно задача властей принимающих стран состоит в организации диалога культур и предупреждении конфликтов. Но в любом случае общество — это конгломерат культурных сообществ. В этом состоит идеология мультикультурализма, с моей точки зрения — неверная.

(3) Мультикультурализм как политика, как совокупность мероприятий, которые власти проводят, чтобы поддерживать культурную отличительность. В некоторых странах в 1980-е годы это называли интеграцией без ассимиляции. Но дело в том, что многие мероприятия, которые выглядят как идеологически мотивированная стратегия, на практике были обусловлены совершенно иными соображениями. Например, уроки на языке страны происхождения. Детям преподают турецкий или арабский — зачем, почему? Совсем не потому, что власти считают необходимым поддерживать «идентичность» детей мигрантов. Первое соображение здесь — помочь этим детям интегрироваться. Уроки на родном языке иногда нужны, чтобы помочь им не стать маргиналами. Но здесь играло роль и еще одно соображение, о чем мало говорят. Оно состоит в том, чтобы как раз не дать де-

тям мигрантов интегрироваться. Во многих странах, и не только в Германии, Австрии и Швейцарии, где были программы для гастарбайтеров (то есть приглашенных рабочих), но и во Франции были аналогичные программы, предполагающие, что приезжие уедут обратно. И чтобы их дети не интегрировались, им нужно преподавать учебные предметы на их языке, иначе как они на историческую родину поедут? Таким образом, то, что сегодня нам кажется благодушием, было связано с решением вполне прагматичной задачи — не дать мигрантам стать частью общества страны въезда. То есть фактически речь шла о сегрегации. Этому служил, кстати, немецкий закон о гражданстве, который не менялся с 1913 (sic!) года. В основе закона лежало представление о немцах как о сообществе крови. Немцем фактически нельзя было стать, можно было только родиться. В 1999 году закон поменяли, и теперь те, кто появился на свет после 1 января 2000 года, могут по достижении 23-летнего возраста подать ходатайство о немецком гражданстве. Но при этом нужно будет доказать, что у них нет другого гражданства (например, турецкого). Двойное гражданство в Германии не предусмотрено, в отличие от Франции.

Так вот, возвращаясь к мультикультурализму как совокупности практик властей для управления разнородным обществом. Когда население состоит из людей с разными культурными бэкграундами, бывают невозможными некоторые действия из-за опасения дестабилизации, излишней социальной напряженности. Например, в школьном буфете, где много детей из мусульманских семей, на обед предлагаются сви-

ные сосиски. Или армейская столовая, где много военнослужащих-мусульман. Или тюрьма, где содержатся осужденные исламского происхождения. Вам приходится что-то делать с вашей кухней, предлагать халяльную пищу (или кошерную — для евреев). В результате возникают «мультикультуралистские» практики, которые есть везде, в том числе во Франции, где этого предпочитают избегать. Во Франции просто идиосинкрзия по отношению к риторике многокультурности, но французские власти делали примерно то же самое, что власти стран, где эта риторика приветствовалась и предпринимались разумные шаги по организации общежития в условиях культурной разнородности. Например, во время Рамадана школьникам-мусульманам можно не давать контрольные задания, откладывая их на потом. А в 1930-е годы евреи просто не ходили в школу по субботам. Вот вам мультикультурализм де-факто, а на бумаге никакого мультикультурализма Франция не допускала. Словом, существует определенная управленческая прагматика, от которой никуда не уйти. Независимо от публичной риторики государства приблизительно одинаково ведут себя.

Поговорим о мусульманской иммиграции и о том, что завтра или послезавтра европейцам придется жить по законам шариата. Такие опасения постоянно приходится слышать. Давайте зададимся вопросом: а хотят ли этого сами мусульмане? Разве многие из них не бежали в Европу, спасаясь от тех режимов, в которых провозглашается религиозный диктат? И второе: кто такие мусульмане? Кто эти люди, которых мы объединяем в эту категорию? Мы должны понимать, что мусульмане —

это категория учета населения, а не категория социального действия. Это статистическая фикция, за которой стоит множество поведенческих стратегий, множество способов идентификации, людей с разным мировоззрением и жизненным стилем. Среди выходцев из исламских стран есть и религиозно индифферентные, и глубоко верующие люди, которые прекрасно научились жить по законам секулярного общества. И это миф, что Коран не позволяет разделять публичное и приватное, как и другие религии. И христианин должен быть христианином везде, а не только у себя на кухне. Так что, повторяю, не надо принимать категорию статистики за единицу социального действия, за какую-то группу, которая ведет себя как некий коллективный субъект. Это первое.

Второе — пресловутый моральный консерватизм исламской аудитории. Выходцам из исламских стран приписывают какой-то особый консерватизм, приверженность к традиционалистским, патриархальным ценностям. Это, как предполагают, является угрозой для идентичности европейских жителей. В мае 2017 года одна бельгийская газета провела опрос о восприятии ценностей. Выяснилось, что 30% бельгийских мусульман не разделяют ценностей социокультурного мейнстрима. В прессе был даже рефрен — «они никогда не интегрируются». Вопрос: интегрируются во что? Кстати, почему-то забыли о тех 70% бельгийских мусульман, которые разделяют ценности мейнстрима. Это первое. Второе: никто не задался вопросом о том, какие, собственно, ценности мусульмане не разделяют. А этот опрос показал, что из ценностей, которых опрошенные в чис-



Джеймс Розенквист. Мерлин Монро I. 1962

ле прочего не разделяют, находятся эротизация и алкоголизация культуры. Третье, о чем забыли: сколько коренных бельгийцев придерживаются таких же ценностных позиций, как и опрошенные мусульмане? В этом лукавство таких опросов. Они все время обращены к мусульманам. И никто не обращается к местным консерваторам. Между тем, если мы подойдем к этим темам с более холодной головой и попробуем сравнить моральные установки мусульман не с социокультурным мейнстримом, а с установками других консервативно настроенных групп, скажем, с практикующими католиками или протестантами, мы увидим, что разница не слишком велика.

Есть исследования по выборке респондентов из четырех групп: молодежи неверующей, молодых христиан, молодых мусульман и пожилых мусульман. Их сравнивают по таким темам, как отношение к разводу, аборт, гомосексуальность, однополые браки. Что выясняется? Первое — молодые мусульмане по ценностям ближе к молодым христианам, чем к каким-либо другим группам. И второе — они гораздо менее консервативны, чем старшее поколение их единоверцев. Это означает, что они усвоили ценностные ориентации своего окружения, то есть идет процесс интеграции.

Я вам хочу показать несколько портретов людей, обогативших культуру «сегодняшней Европы». Это Амин Маалуф — один из ярчайших французских прозаиков, лауреат всех возможных премий, член Французской академии. Он из Бейрута. Навид Кермани — потрясающая личность. У нас мало кто его знает, но он один из самых влиятельных немецких интел-

лектуалов, журналист, писатель, ученый, общественный деятель. Если сегодня образованного немца спросить, кто для него является авторитетом, он наверняка в числе пяти человек назовет Навида Кермани. Он из Ирана. Заха Хадид — великолепный архитектор, к сожалению, недавно умерла. Построила массу великолепных зданий в Лондоне и не только. Англичане гордятся ею. Она из Ирака. Фатих Акин — один из самых именитых немецких режиссеров. Он немец турецкого происхождения. Что ни премия немецких кинематографистов, это или Фатих, или кто-то из его соплеменников. Что объединяет Маалуфа, Кермани, Хадид и Акина? То, что все они мусульмане. И что из этого? Стоит ли сеять панику по поводу роста доли мусульман в населении Европы? Кстати, вера в то, что мусульмане размножаются, как кролики, полная чушь. Репродуктивное поведение мусульманского населения имеет тенденцию к сближению с репродуктивным поведением местного населения уже во втором поколении. Если мигранты из Азии и Африки (кстати, не только мусульмане) часто имеют многодетные семьи, то их дети обычно ведут себя в отношении планирования семьи совсем по-другому.

Но вернемся к конкуренции между различными «идеями Европы». Выше мы говорили о противостоянии социал-демократического и неолиберального видений Европы. Они противостоят друг другу на социально-экономическом поле. Что касается диспозиции на культурно-идеологическом поле, то здесь можно выделить четыре полюса. Первый — условный либеральный *социокультурный мейнстрим*, иногда довольно сильно различающийся в раз-

ных странах. Для него характерно терпимое отношение к разводам, абортам, однополым бракам и женской эмансипации. Второй полюс — *консерватизм*, опять-таки достаточно условный по причине значительного разброса внутри этого лагеря. Здесь выступают против чрезмерной женской эмансипации, высказывают более сдержанное отношение к абортам, чем это свойственно либералам; с разводами консерваторам пришлось смириться, и еще они — категорические противники однополых браков. Третий полюс — *феминизм*, соединяющий радикальные представления о женской эмансипации и резкое неприятие того ценностного и социального порядка, который именуется патриархатом. Четвертый полюс — *религиозный фундаментализм*. Его представители категорически не принимают абортов, разводов, гомосексуальности и однополых браков. Между прочим, между этими полюсами порой намечаются весьма неожиданные идеологические союзы. Так, некоторые феминистки выступают как попутчики консерваторов и религиозных фундаменталистов по двум вопросам: они против проституции и против порнографии (призывают к запрету того и другого).

Как вы думаете, где в этом четырехугольнике располагаются мусульмане? Они везде, потому что они нормальные люди. Их очень много в мейнстриме, их довольно много среди консерваторов. Их немного, но они есть среди религиозных фундаменталистов. Исламские фундаменталисты придерживаются примерно тех же воззрений, что хри-

стианские или иудейские, по большинству моральных вопросов, и в первую очередь по такому, как положение женщины в обществе. Наконец, мусульмане есть в феминистском лагере. Исламский феминизм — это не оксюморон. Его представительницы активны не только в Египте или Марокко, но и в Европе. Пример: Сейран Агеш. Это немецкий адвокат, правозащитница и практикующая мусульманка турецкого происхождения (приехала в раннем возрасте из Турции в Германию). Она основала в Берлине мечеть, имамом которой и является. Женщины и мужчины там молятся вместе, там можно молиться представителям ЛГБТ, и там категорически запрещена паранджа. Еще она выступает против того, чтобы День открытых мечетей отмечался 3 октября, потому что он совпадает с Днем немецкого единства, а в этот день мусульмане должны демонстрировать свою интегрированность, а не свою отдельность.

В заключение несколько слов о нашей стране как о героине битвы за идею Европы. Я уже говорил о том, что в представлении наших консерваторов Европа встала на путь саморазрушения. И только решительный возврат к традиционным ценностям может ее спасти. А где находится то место, где традиционные ценности сохраняются? Правильно, в России! Следовательно, Россия — это бастион подлинной европейскости, воплощение правильной Европы. Это, если хотите, Небесная Европа, это идея Европы в платоновском смысле слова. Вам судить, следует ли развивать подобный ход мысли.

Вестфальская модель мира, закрепившая приоритет национальных интересов, возникла почти четыреста лет назад, но до сих пор остается рабочей концепцией в международных отношениях. Однако она больше не может оставаться инструментом решения стоящих перед человечеством проблем; постепенно ей на смену приходит система ценностей. Публикуемая статья, подготовленная на основе выступления автора на школьном семинаре в Риге в июне 2019 г., о том, что это за ценности, как они связаны с понятиями эмоций, морали и справедливости, в каких случаях правительствам прощается ложь и почему общество становится более толерантно к «постправде».

Глобальный мир: эмоции, интересы, ценности

От эмоций — к интересам, от интересов — к ценностям...

Общество движимо эмоциями. Речь не только об авторитарных режимах, где воля одного человека, его умственное, душевное состояние могут определять многое в государстве. Даже в демократических обществах политические решения часто принимаются главами государств за письменным столом, в самоизоляции, а значит, под воздействием эмоций. В книге «Новый Макиавелли» бывший глава администрации Тони Блэра Джонатан Пауэлл пишет, что Блэр принял решение о вступлении Великобритании в военную кампанию в Иране в одиночестве. Так было и раньше: в «Илиаде», например, кровавое побоище было развязано после того, как один мужчина украл жену у другого.

Превратить эмоции в интересы смог развивающийся капитализм. С точки зрения церкви, алчность — смертный грех. Но понятие интересов вывело действия государства в морально нейтральную систему, за пределы нравственной оценки. На основе мирного соглашения по итогам Тридцатилетней войны, закончившейся в 1648 году, появилась *Вестфальская модель международных отношений*. Агенты международных отношений в этой модели — не монархи, не религиозные лидеры, а государства, равные и суверенные. В своих действиях они руководствуются интересами безопасности и процветания. Роль и задача



*Петр Свитальский,
польский политик, дипломат,
посол ЕС в Армении*



государства — обеспечить безопасность и процветание для своих граждан. Движущей силой перемен является конфликт интересов, разрешаемый на основе информации о соотношении сил между участниками конфликта. Чем сильнее государство, тем больше у него возможностей решить конфликт интересов в свою пользу. Ко второй половине XIX столетия парадигма интересов заслужила новый очень важный эпитет — интересы стали национальными. Означает ли это, что эмоции с тех пор исчезли из политического языка и политики как таковой? Конечно, нет.

Интересы по-прежнему играют решающую роль в международной политике, но глобализация парадоксальным образом привела к усилению фактора эмоций. В книге Доминика Моизи «Геоолитика эмоций» автор пишет о трех, с его точки зрения, главных типах или культурах эмоций: о культуре унижения, характеризующей в основном мусульманский Восток, культуре надежды, свойственной Азии, и культуре страха, характерной для Европы и частично России — это страх за будущее, которое вдруг станет еще более опасным и непредсказуемым. Иллюстрацией эмоции или культуры страха служат многие действия Европейского союза, который из-за нежелания сталкиваться с риском нередко откладывает принятие решений или выжидает, пока трудности разрешатся сами собой.

Иногда мы воспринимаем Вестфальскую систему как нечто вечное, полагая, что она существует с незапамятных времен и будет суще-

ствовать всегда. Но это не так. На смену этой парадигме придет другая. Я считаю, что существующая попросту не может больше оставаться инструментом решения стоящих перед человечеством проблем. Она вынуждает нас думать лишь в очень краткосрочной перспективе. Сегодня на смену системе интересов постепенно приходит *парадигма ценностей*. Ценности — это идеи, устремления, которые обладают чуть меньшей гибкостью, чем интересы, но они более устойчивы и долговечны. Речь идет о достоинстве, правах человека, его свободах, демократии, равенстве и верховенстве права. Возможно, уже в ближайшие десятилетия мы попросту не сможем больше рассуждать о стоящих перед человечеством глобальных проблемах в отрыве от категорий ценности.

Несколько лет назад министр иностранных дел Германии выступил в ООН с речью о ценностях — мире, солидарности, правах человека. А потом, в Берлине говорил перед национальной аудиторией фактически о том же, но используя термин «интересы». Тот же министр, та же страна, та же международная политика. Концепция интересов все еще обладает значимостью в контексте национального дискурса, но в Нью-Йорке, перед международной аудиторией, об этом говорят редко. На мой взгляд, мы постепенно переходим к миру ценностей.

Иногда нам кажется, что только Запад имеет правильные ценности. Необходимо помнить: западная концепция ценностей, основанная на равенстве, достоинстве и свободе, имеет альтернативы. Например, у китайцев центральный элемент системы ценностей — гармония, и только потом справедливость, взаимовыгода и взаимное развитие. Пример развития Китая опровергает наше привычное представление, что только западная система способна отвечать на глобальные вызовы.

Мораль: как в политике отличить хорошее от плохого

Возможно ли в принципе отличить хорошее от плохого в политике? Хорошее и плохое — это моральные суждения. Долгое время считалось, что право на моральные суждения имеют только люди, а не государства. Однако сегодня очень сложно поддерживать мнение, что действия государства не подлежат моральной оценке. Чтобы моральная оценка стала возможна, нужно общее понимание морали, необходим универсальный моральный кодекс, но его нет. Хотя представители мировых религий утверждают, что они обладают общей моралью, всегда найдутся большие группы людей, подвергающих это сомнению. Например, в России моральный кодекс основан на православном христианстве, но Россия страна многонациональная и многокультурная.

На мой взгляд, в рамках государства может быть устойчивый моральный кодекс. А за пределами государств единственные нормы, на кото-

рые мы можем сослаться, — это *международное право*. Вопрос: до какой степени оно отражает принципы морали?

Основная сложность по поводу морального суждения в международной политике проистекает из того факта, что люди издавна имели два вида морали. Один — чтобы регулировать отношения внутри своего племени, нации или государства. Другой — для отношений с другими племенами, с иными. Для отношений с другими действует утилитарная мораль, основанная на парадигме интересов: вы максимизируете свои выгоды, до минимума уменьшая потери. Все, что дает больше выгод, с моральной точки зрения хорошо; все, что приводит к страданиям — плохо. В этой парадигме, например, можно дать взятку. Страны используют разные способы, чтобы получить место в Совете Безопасности ООН: предлагают помощь, гранты, займы. Никто не осуждает эти действия, хотя во внутренней политике это фактически то же самое, когда политик раздает деньги во время своей предвыборной кампании. Кроме того, маленькая страна может использовать любую возможность для поддержки сильного государства, делая это в расчете на его помощь в критический момент. Никто не считает это предосудительным. Единственный случай, когда действуют моральные ограничения — это ситуация, когда крупная страна вынуждает другую страну действовать вопреки своим интересам, прибегая к принуждению, запугиванию или использованию силы.

Общие правила поведения государств в XX веке были сформулированы, как известно, в Заключительном акте Хельсинкской конференции (1975), Будапештском меморандуме (1994) и Декларации тысячелетия ООН (2000). Среди провозглашенных принципов — неприменение силы, невмешательство, сотрудничество, нерушимость границ, защита прав человека, свобода в выборе средств защиты своей безопасности и добросовестность в выполнении международных соглашений.

Большой вопрос, который стоит перед всеми нами: можем ли мы вообще рассчитывать на разрешение глобальных проблем без опоры на моральные принципы. На мой взгляд, нет. Это необходимо, потому что международного права недостаточно, так как нет надежного универсального обоснования для приведения его в действие в планетарном масштабе.

Ложь: почему лгать сейчас гораздо проще, чем раньше

Стивен Пинкер в своей книге «Добрые ангелы человеческой природы» доказывает, что уровень насилия в международной политике снижается, большинство конфликтов сегодня — конфликты внутри страны. Вместе с тем в мире активно применяются другие формы зла: ложь и воровство. Ложь как с религиозной, так и с нравственной точки

зрения — осуждаемое явление, но она становится все более распространенным средством ведения политики. Одна из причин — лгать сегодня гораздо проще, чем раньше: в цифровом мире ложь в гораздо меньшей степени подлежит изобличению. Скрывать от публики правду, искажать факты в виртуальном пространстве не составляет никакого труда, в условиях анонимности человек с гораздо большей легкостью совершает зло.

Джон Миршаймер в книге «Почему лгут лидеры? Правда о лжи в международной политике» пишет, что правители лгут меньше, чем мы думаем, но больше, чем раньше, — причем лгут в большей степени внутренней аудитории, нежели правительствам других стран.

Ложь считается оправданной в трех случаях. В дипломатии процветает искусство так называемой белой лжи — это явление сродни тому, как мы говорим своим детям, что они замечательные художники, композиторы, творцы, пусть даже это не соответствует действительности. Чем больше государство, о котором мы говорим, тем сложнее сказать ему «нет». В 1992 году одно крупное европейское государство выступило с предложением, которое было разработано человеком из научного сообщества, и практически все знали, что предложение это никогда не сработает. Но ни у кого не хватило мужества сказать об этом открыто: проект был инициирован и обошелся в десятки миллионов евро. Второй пример, когда ложь считается оправданной, — ложь военного времени. Если страна находится в состоянии вооруженного противостояния, никто не упрекнет вас за ложь врагу. Правительству, которое лжет собственному народу, придется расплачиваться за это только в случае военного поражения; победителей, как известно, не судят. Американцы и британцы принимали ложь Джугашвили не только во время войны, но и после 1945 года. Единственное объяснение, быть может, состоит в том, что они не хотели нарушить правило, в соответствии с которым победитель имеет право на ложь. Третий случай, где ложь считается оправданной, — переговоры. Во время переговоров, каков бы ни был их предмет, мы имплицитно считаем, что блеф — часть игры. После переговоров ни одна из сторон не чувствует себя оскорбленной, если выявляется, что кто-то прибегал ко лжи; в случае достижения договоренности это вообще снимается со счетов.

Джон Миршаймер выделил несколько типов лжи: классическая ложь (государства взаимодействуют, но одно из них готовит при этом демарш или провокацию), паническая ложь (при возникновении проблем внутри страны власти привлекают внимание общественности к неким внешним силам), ложь для сокрытия (государство посылает куда-либо вооруженный контингент, называя его волонтерами или уволенными в запас), либеральная ложь (демократическая страна поддерживает отношения со страной авторитарной и объясняет, почему она вообще всту-



пает в отношении с диктаторами) и искажение истории для оправдания проводимой политики.

Порог толерантности ко лжи сейчас тоже снижен. Например, премьер-министр Польши был в судебном порядке дважды изобличен как лжец. Но это никак не сказалось на его популярности. Новая идеология, постправда, предполагает, что эмоции первичнее фактов. Это цена демократического выбора: мы просто следуем за своими эмоциями, за своими чувствами. Если нам кто-то нравится из-за его носков (имеется в виду премьер-министр Канады Джастин Трюдо), то мы за него голосуем. Я лично, кстати, ничего плохого во взглядах Трюдо не вижу.

Многие политики сейчас даже не претендуют на правду, полагая, что она не имеет особого значения. «Я верю, следовательно, я прав» — вот сегодняшняя версия картезианского положения «я мыслю, следовательно, я существую». Это вновь обращает нас к значимости эмоций. Для меня это исключительно тревожное обстоятельство. Я считаю, что поиск правды — это краеугольный камень западной цивилизации, пренебрежительное отношение к фактам несет в себе большую опасность. Можем ли мы выстраивать отношения доверия в международных делах на каком-либо ином фундаменте, кроме правды? Можно ли доверять на основе эмоций? Пожалуй, да, но эмоции недолговечны, они меняются, так как обусловлены разными факторами. Как вести диалог в таких условиях?

Представляется, что правда — это единственный фундамент для осмысленного и основанного на доверии общения, без этого человечеству не удастся решать существующие проблемы.

Справедливость: как установить ее в мире и почему в Андорре нет судов

Справедливость — одна из важнейших категорий, эпитет «справедливый» очень часто используется в языке международных отношений, хотя, когда мы говорим о справедливом мире, мы далеко не всегда понимаем, что вкладываем в это понятие. Исторически мы говорим о справедливости как о возмездии, или юстиции, полагая, что правонарушение должно быть так или иначе наказуемо посредством законов. Другой аспект — справедливость распределения ресурсов, материальных и нематериальных богатств так, чтобы возможно большее число граждан были удовлетворены в своих потребностях. При дефиците ресурсов люди не говорят о справедливости, потому что на первый план выходит проблема выживания.

Джон Ролз полагал, что в наших отношениях с другими странами и народами вопрос о политической справедливости более важен, чем распределение ресурсов. Политическая справедливость, по Ролзу, означает ощущение равенства, право на самооборону, невмешательство, уважение к букве и духу международных договоренностей, а также к правам человека. Эти нормы, по мнению исследователя, применимы только к либеральным обществам, но и иерархические общества отчасти могут воспользоваться этими политическими категориями.

Развитие понятия политической справедливости в рамках Вестфальской системы привело к ситуации, когда страна, подобная Китаю, с населением более миллиарда человек, имеет такой же голос в ООН, как Андорра, Сан-Марино или Сингапур. Все больше людей задаются вопросом, справедливо ли это? Речь идет о равенстве государств, и не принимается во внимание, что государства эти очень разные, как и их население. Голос отдельного человека имеет значение, только если есть государство. Страны, которые хотят, чтобы у них был голос, понимают, что единственная возможность для нации чувствовать эту справедливость — образование государства. Но как быть нациям без государства, например курдам? А государствам без территории? Страны могут исчезать, проблема глобального потепления стоит остро. Что произойдет с гражданами этих стран?

Между политической и распределительной формами справедливости есть противоречия. Например, при гуманитарной катастрофе или агрессивном режиме, который морит голодом своих граждан, политическая справедливость предписывает: оставайся в стороне, это не твое дело; а распределительная справедливость и ее нормы диктуют: нужно помочь. Например, некоторые бедные государства имеют право беспощинного экспорта. Армения сейчас может экспортировать товары без таможенных пошлин в Евросоюз: власти страны даже опасаются, что

если она разбогатеет и достигнет уровня страны со средним доходом, то потеряет эту привилегию.

Переформатировать международную справедливость как в политическом, так и в распределительном отношении необходимо во имя глобальной справедливости. Система международных отношений должна адаптироваться к тому факту, что у каждого из нас не одна идентичность, а несколько, и иногда эти другие идентичности гораздо более сильные, чем национальные. Мы чувствуем угрозу, потому что ничто не защищает нас более эффективно, чем национальная идентичность, но когда мы удовлетворены свободой, нам хочется расширить спектр факторов идентификаций. Для некоторых быть феминистом может быть гораздо важнее, чем иметь национальную принадлежность. При глобальной справедливости любой гражданин любой страны может подать в суд на любую страну, требуя справедливости — и именно Европейский суд по правам человека считается представителем этого нового типа справедливости. Но может ли *европейская модель справедливости* трансформироваться в глобальную? Многие государства предпочитают сохранять старую модель суверенности и не желают советов со стороны.

Между тем для обеспечения справедливости в обществе все чаще необходим взгляд со стороны, как во время важных футбольных матчей, на которые приглашают иностранных судей. В Андорре нет судов: граждане считают, что страна слишком маленькая и с тесными связями, поэтому справедливость невозможна; если кто-то хочет подать исковое заявление и возбудить дело, нужно ехать в Испанию. В Сан-Марино суды есть, но нет своих судей: на эту роль приглашают тех, кто живет минимум в 50 км от границы государства.

В связи с понятием глобальной справедливости возникает несколько проблем. Санкции, например, — это законный способ политической реакции, но справедливо ли заставлять все общество, всю нацию платить за решения и ошибки, допущенные ее лидерами? Что делать с авторитарными или полуавторитарными государствами, в которых общество не чувствует своей силы и когда один лидер или группа принимают решения? Как быть с неравным доступом к сырью и воде и как будет применяться принцип справедливости в случае иссякающих ресурсов? А изменение климата?.. Богатые государства принуждают нас стремиться к зеленой экономике и экологичным решениям. Но как же бедные страны? Они должны пожертвовать своими перспективами на лучшую жизнь, только для того чтобы внести свой вклад в достижение цели сделать мир более чистым и зеленым?

У нас нет решений этих дилемм. Но я полагаю, что мы все больше будем руководствоваться императивом глобальной эмпатии. Нам придется отказаться от Вестфальской модели международных отношений.

Что такое публичное пространство, зачем оно необходимо в гражданском обществе и что нужно сделать, чтобы оно сложилось в России? Ответы на эти и другие вопросы вместе искали эксперты и участники семинара Школы гражданского просвещения, который прошел в центре «Мемориал» 6 июля 2019 года.

Гражданское просвещение: публичное пространство

Лена Немировская, Ирина Прохорова, Алексей Макаркин,
Андрей Колесников, Григорий Юдин, Максим Горюнов, Александр Шмелев



Ханна Арендт определяла публичное пространство как среду для свободных граждан, где они могут открыто высказывать свое мнение и в процессе дис-

куссии приходиться к какому-либо решению. В советское время отсутствие таких площадок восполняли кухни, но никаким публичным пространством они, конечно, не являлись, говорит сооснователь Школы гражданского просвещения **Елена Немировская**: «Это закрытое пространство, где собирались единомышленники. Идея как раз была в том, чтобы не выходить из него». С момента распада Советского Союза прошло почти три десятилетия, но практика публичных дискуссий так и не стала в российском обществе общепринятой. Когда в стране отсутствует культура публичного высказывания, любые попытки неорганизованного диспута легко пресекаются, полагает Е. Немировская.



«Мы не можем создать оппозицию, потому что мы такие же безжалостные, как сама власть»

Литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение»

Ирина Прохорова — о новой этике и пространстве общественного диалога.

В России так и не появилась платформа для публичной дискуссии, считает Ирина Прохорова. Интеллигенция, которая была двигателем перестройки, рассеялась, а новая среда или не сформировалась вовсе, или не ощущает себя такой средой, не имеет своего выразителя мнений. Почему это происходит? Все дело в разобщенности.

Еще дореволюционные мыслители отмечали появление аскетического этоса, который заключался в отказе от материальных благ и самопожертвовании ради высоких идей. Этому посвящен почти весь сборник «Вехи», для которого писали и Сергей Булгаков, и Николай Бердяев, и Петр Струве. Идея стала главным способом существования и для убежденных революционеров, и просто для сознательной интеллигенции. Эту традицию, по словам Прохоровой, переняла не только советская власть — она дожила и до наших дней, правда в форме «странной мутации»: «Призыв к аскетизму остался, а подвижничество исчезло».

Аскетическим пафосом «больше всего заражены диванные критики, которые ничего не делают», но четко следуют «принципу радикальной непримиримости: соглашатель тот, кто посмел взять



Феликс дель Марль. Устремленность. 1913

грант у государства», — говорит Ирина Прохорова. Недопустимо ругать «своих» в условиях, когда нельзя критиковать власть; это — «социальный аутизм». «Сначала надо создать контекст, а уже потом в мелочах разбираться». Между тем даже те люди, которые «смотрят телевизор» или «разделяют какие-то предрассудки», способны «и на подвиг, и на самопожертвование, и на достоинство», — убеждена эксперт. Так, вполне «лояльные [власти] во многих других отношениях» жители Архангельской области «восстают против мусорных свалок». «А когда вы идете к врачу, вам не все равно, человек за Крым или против Крыма, если он честный профессионал?»

Отказываясь рассматривать как потенциальных союзников людей, чья точка зрения хотя бы минимально расходится с нашей, мы сами оказываемся согласны с властью, по крайней мере с принципа-

ми ее управления, приходит она к выводу: «Мы не можем создать оппозицию, потому что мы такие же безжалостные, как сама власть». Если «мерить людей только по политическому признаку, количество наших сторонников всегда будет мизерное». «Более сложный взгляд на общество, понимание ситуации позволило бы нам переформулировать задачи и обнаружить тот потенциал, который мы сейчас не видим».

Выстраивать систему объединения, по мнению Прохоровой, можно было бы на *идею гуманизма*, которую «власть совершенно не приемлет». Для общества же она может стать «точкой опоры и единения»: у живущих в России людей, постоянно сталкивающихся с унижениями и оскорблениями, идея милосердия и гуманности вызывает отклик: «Мне кажется, люди устали от жестокости. Это показывает и история с Грузией». Москва разорвала прямое

авиасообщение с Тбилиси после скандала во время визита в Грузию российской делегации, однако к росту антигрузинских настроений это не привело. «На бурю в стакане воды народ не реагирует, а вся эта имперская риторика оказывается неэффективной, — заключает она. — Может, попробовать говорить с людьми по-другому?»



«Государство — это абсолютное зло или набор разных институций и персоналий, склонных к определенным реформам?»

Первый вице-президент Центра политических технологий **Алексей Макаркин** — о диалоге и противоречиях внутри «модернистского общества».

Под «модернистским сообществом» мы понимаем группу сторонников реформ, направленных на переход от традиционного к современному обществу, расширение политических и экономических свобод, повышение открытости страны, говорит Алексей Макаркин. Когда эти процессы реализуются успешно, «модернизация проходит бесконфликтно и серьезных разломов не возникает». Каждая же попытка модернизировать Россию неизбежно сталкивалась с множеством проблем, серьезным противодействием сверху и пассивностью снизу. Среди сторонников перемен процесс сопровождался размежеваниями, причем размежеваниями драматическими: в обоюдный конфликт вступали люди, которые знали друг друга, работали на одних кафедрах, печатались в одних и тех же жур-

налах. Общей для этих людей, принадлежавших к разным эпохам и поколениям, становилась и *проблема выбора*, решение которой требовало ответа на вопросы: является ли государственная власть, которая проводит консервативную, реакционную политику, абсолютным препятствием на пути модернизации? Или она более сложный и противоречивый феномен, обладающий определенным модернизационным потенциалом? Что делать: бороться с государством или работать на государство? Воспринимать его как абсолютное зло или как набор разных институций, персоналий, с частью которых можно работать, и они могут быть склонны к определенным реформам?

Эта проблема возникла в начале XIX века в связи с восстанием декабристов. Автор масштабных реформ М.М. Сперанский, которого декабристы прочили в состав временного правительства в случае своего прихода к власти, после подавления восстания оказался в ситуации, когда его самого подозревали в соучастии. Тогда Сперанский выступил в не очень свойственной ему роли реакционера: стал членом Верховного уголовного суда и одним из тех, кто выступал за смертные приговоры. Николай I это оценил, позволив ему потом заниматься кодификацией законодательства». Вместе с тем благодаря выбору Сперанского удалось принять поправки в наиболее одиозные законы, и сама кодификация имела важное значение в повышении роли законности в России. Князь С.П. Трубецкой, который должен был стать военным «диктатором» декабристов, тоже был либералом, но не революционером: он успел подготовить свой манифест, но, увидев, что ему предстоит руководить солдатской

революцией, сломался и не явился на Сенатскую площадь. Между либералом Сперанским и либералом Трубецким, таким образом, произошел разрыв: одного его выбор привел к новым почестям, а второго — на каторгу и в сибирскую ссылку на тридцать лет. Была в этом сюжете и еще одна знаковая, хотя и менее известная фигура — С.Г. Краснокутский. Боевой офицер, участник войны 1812 года, он командовал полком в армии, затем ушел в отставку и перешел на гражданскую службу. К моменту восстания Краснокутский был действительным статским советником, обер-прокурором Сената. Он мог бы стать сенатором или даже подняться выше. Но он сообщил декабристам, когда произойдет присяга нового императора, и дал понять, что он будет с ними. За это он заплатил Сибирью, где тяжело заболел, и оттуда уже не вернулся. Подобный раскол произошел в 1911 году в Московском университете: министр народного просвещения Л.А. Кассо дал санкцию на вторжение полиции в Московский университет в обход его руководства. Три руководителя университета подали в отставку: ректор А.А. Мануйлов, его помощник М.А. Мензбир и проректор П.А. Минаков. 21 профессор и около 130 преподавателей и сотрудников университета подают заявления об уходе вслед за ними, в том числе В.И. Вернадский, Ф.Ф. Кокошкин, К.А. Тимирязев, В.П. Сербский; Кассо подписывает все заявления. Но идея «сейчас мы уйдем и покажем власти, что без нас невозможно» не срабатывает: среди оставшихся — не менее знаменитые ученые. Это историк, будущий ректор М.К. Любавский, историк М.М. Богословский, юрист Л.А. Камаровский. Первое, что сделал новый рек-

тор Любавский: отправился к министру Кассо хлопотать за 25 студентов, замеченных на одной из сходов полицией и подлежащих отчислению. Любавский их отстоял». Зоолог, профессор Г.А. Кожевников писал: «Мотивы тех профессоров, которые приняли решение выйти в отставку, глубоки, нравственно высоки и несут характер громадной жертвы <...> Я считаю, что ни при каких обстоятельствах не следует покидать своего поста, пока самое пребывание на нем не потеряло своего смысла».

В последнее время в России усиливаются разногласия между разными группами сторонников модернизации». Очаги модернизации — «Вышка», «Шанинка», Европейский университет в Санкт-Петербурге — оказываются между двух огней. Одни считают, что «там воспитывают студентов, которые будут действовать в интересах Запада», другие — что позиция этих вузов «слишком умеренна, слишком компромиссна». Есть раскол в связи с изоляцией России в рамках еврообщества, а именно — возврата в ПАСЕ. Что важнее: чтобы Европа отступила безо всяких условий и российская власть оказалась здесь победителем или чтобы у российских граждан сохранялась возможность обращения в ЕСПЧ?

Кто в итоге окажется инициатором перемен — сотрудничающие с властью или находящиеся к ней в жесткой оппозиции? Перемены сверху лучше хотя бы потому, что так мы не скатываемся в пугачевщину и большевизм. Но вопрос о потенциале и готовности власти к переменам в каждую историческую эпоху решается отдельно. На каком-то этапе они приходят, причем от самых неожиданных людей. Казалось бы, от кого никаких перемен не ждали, так это от

Хрущева, с его одиозной ролью в репрессиях и образом неумного сталиниста. Россия — страна неожиданностей, здесь всякое происходит.



«Рациональная публичная сфера не возникнет сама собой, необходимо принуждение к диалогу»

Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги **Андрей Колесников** — о революции достоинства по-русски.

В России прямо сейчас происходит революция достоинства, полагает Андрей Колесников. По стране прокатились протесты против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге, произвола правоохранительных органов, вывоза мусора в Архангельскую область. Эти протесты спровоцированы не бедностью и низкими доходами, а ущемлением достоинства людей, неучетом их мнения. Этот процесс зародился несколько лет назад и превратился в подземный пожар, который время от времени вспыхивает где-то, разрастается, потом гаснет, а потом вспыхивает в совершенно неожиданной точке еще раз.

В России начало возрождаться понятие публичного пространства. Понимание того, что существует публичное пространство и его нужно защищать, — это, безусловно, новое явление последнего времени. Модельная история — это происходящая в районе железнодорожной станции Шиес Архангельской области в прямом смысле гражданская война, где государство пред-

ставлено в самых разных видах — от московской мэрии, которая когда-то приняла решение размещать мусор в Архангельске, до высшей власти, которая с этим согласилась, бизнеса, который подхватывает эти идеи, и работников ЧОПа, которые избili протестующих активистов. Кроме того, если обычно в таких историях люди останавливаются на решении прагматической задачи защиты собственной территории, то здесь происходит политизация, осознание прямой связи между устройством политической системы и тем, что происходит «у нас в болотах». Несомненно, это протест против федеральной власти.

Мы являемся свидетелями очень важного процесса появления своего рода постдемократии, или демократии 2.0 — совершенно нового ее типа, когда нет лидеров, когда организации сетевые. Рассуждая о гражданском обществе, мы не только используем термин НКО, но и понимаем, что оно в большей степени состоит не из организаций, а из людей — индивидов, индивидуальностей. Мусорная проблема — одна из важнейших социальных, техногенных, политических проблем, порождающих массовое пробуждение гражданского сознания. Новый президент Словакии Зузана Чапутова была когда-то адвокатом людей, которые боролись против мусорной свалки, победила в этой борьбе, а потом стала главой государства. Конечно, не очень наш случай, но серьезный пример того, как в современном обществе бывает.

Для российской власти начать разговор с гражданским обществом все еще означает потерю ее собственного достоинства и чести. Например, в освобождении Ивана Голунова, обвиненно-

го в попытке сбыта наркотиков, ключевую роль сыграло не гражданское давление, а подкованный диалог с властью авторитетных для нее людей из оппозиции: власть ничего не делает под давлением общества.



Социолог, научный руководитель программы «*Политическая философия*» МВШСЭН Григорий Юдин.

«Мы со всех сторон видим запрос на общественный диалог», — отвечает эксперт. В своих избирательных кампаниях в Мосгордуму кандидаты от власти опираются именно на этот запрос. Например, кандидат Роман Бабаян пишет на своих листовках: «Власти нас не слушают, и нам срочно необходим общественный диалог, какой должна быть Москва». Думаю, что никакого диалога не будет, но то, что пиарщики понимают, есть запрос — это показательная история.

Как начать диалог и по каким правилам его вести? Вопрос восходит к Иммануилу Канту. Его идея заключалась в следующем: власти разрешают общественную дискуссию, а граждане обязуются соблюдать существующие правила, но имеют возможность принимать в ходе открытого диалога решение об их исправлении; важно, что пока нет консенсуса, никто не настаивает на смене правил. Все хорошо с этой моделью, одна проблема: она не работает.

Почему? Во-первых, она не работала никогда: идея о том, что каждый может публично высказываться, не имела ничего общего с реальностью конца XVIII века, когда жил Кант. Не была модель и такой мирной, как ее пытался

представить философ; тенденция на эмансипацию публичного разговора от решения единоличного суверена работала как модель революционная. Во-вторых, публичная сфера всегда исключала из себя тех, кто недостаточно компетентен, неспособен говорить на принятом языке. В современной политике это приводит к господству технократизма и тотальной деполитизации, отсечению от политической дискуссии 90% людей. При этом протестующие сами не способны осознать политический характер собственных притязаний в условиях, когда политическая направленность очевидна. И раз за разом их удается легко обезоружить. Как вести политический диалог с человеком, который говорит, что он не про политику? Никто не заставляет нас любить нынешних правителей России, но есть сознательная деполитизация: это дело «грязное, корыстное, и поэтому иметь никакого отношения к этому не нужно».

Я не согласен с Андреем в том, что решающую роль в деле Голунова сыграло не общественное давление. Люди из власти, конечно, хотят, чтобы гражданское общество в России предполагало, что уступки были сделаны вовсе не потому, что оно куда-то там вышло — это часть стратегии по деполитизации. На эту удочку важно не ловиться.

Значит ли это, что надежду на взаимопонимание и рациональную публичную сферу надо оставить? Как минимум не совсем: рациональная публичная сфера не возникнет сама собой, необходимо принуждение к диалогу. А диалог ведут только с тем, за кем стоит достаточная сила. В истории с выборами в Мосгордуму мэрия, внедрив запретительный барьер в виде сбора подписей, оказала

себе дурную услугу. Теперь за каждым из кандидатов в депутаты — несколько тысяч подписей, собранных в очень тяжелых условиях. Это сила. Ничего не получится без реабилитации публичной политики, со всей ее рациональностью, со всем ее популизмом, со всей ее неприглядностью, со всей ее иррациональностью. Только так можно вернуть в политическое участие массы, которые чувствуют себя изолированными. И только так есть шанс заставить себя слушать и начать разговор о нашем общем будущем.



«Публичное пространство в России превратилось в набор расширенных частных пространств»

Философ и публицист Максим Горюнов.

У Советского Союза была мощная армия, мощная пропаганда, способная «промыть человеку голову, не оставив там ничего лишнего», но «тем не менее государство развалилось и на его месте появилось 15 новых стран», — говорит Максим Горюнов. Открытая дискуссия в России рано или поздно приведет к тому, что и Россия исчезнет, полагает он: «На этом пространстве появится россыпь государств с общественными отношениями, о которых мы не имеем представления».

Россия — не мононациональная страна, как Финляндия, в нее входят национальные республики, в том числе Крым с крымскими татарами. У республик есть свои конституции, в некоторых работают «вполне вменяемые академии наук». Причем даже «утрата нацио-

нального языка, как показывает европейская практика, не означает» отказа от притязаний на самоопределение. «У всех есть свой список претензий к Москве — начиная от экономических и заканчивая историческими. Если вы откроете татарские медиа, увидите, что они очень красиво троллят Москву. В Казани есть Кремль. И казанские журналисты, когда хотят подколоть московских коллег, говорят: “В казанском Кремле нам уточнили, что мнение московского Кремля...”».

Публичная дискуссия в России блокируется или сводится к разговору о табуретках в парках, но это «единственный способ удержать Россию в ее нынешнем состоянии», — полагает Горюнов.



Политолог, основатель сайта Sapere aude Александр Шмелев.

В течение двадцати лет у власти «Единой России» альтернативой ей является неединая Россия. Мне все-таки кажется, что это не такой сильный аргумент, чтобы ставить заслон публичной дискуссии. Чем шире публичное пространство и пространство для общественной дискуссии уменьшается, тем больше накапливается претензий к федеральному Центру, но едва ли эти претензии всегда носят национальный характер. У меня как у москвича, например, есть свои претензии к Москве как федеральному Центру.

Главный враг публичного пространства — тоталитарное государство. Однако не только оно. Не меньшим врагом является увлечение манипулятивными технологиями, пиаром. Для



Анри Матисс. Желщина с вуалью. 1927

примера можно проследить, как происходило сворачивание публичного пространства в постсоветской России в трех сферах. Во-первых, в политике произошел переход от конкурентных

выборов к политтехнологиям. В 1989–1990 годах еще никто не понимал, что такое избирательные технологии. Выборы в Верховный совет были максимально приближены к классическо-

му понятию *res publica* — общему делу: кандидаты писали на бумажке, за что они выступают, распространяли в виде листовок, а избиратели на своего рода агоре принимали решение, за кого будут голосовать. Но уже в 1993–1995 годах на выборах стали появляться пиар-технологии, и в итоге процесс свелся к тому, чтобы обеспечивать победу конкретному человеку. Во-вторых, манипулятивными технологиями были убиты независимые средства массовой информации. Рубежным стал 1996 год со знаменитой президентской кампанией, а битва за «Связьинвест» 1997 года закрепила результат. И наконец, в-третьих, Интернет. Я хорошо помню, какие были дискуссии в Интернете в первой половине нулевых годов: в ЖЖ можно было опубликовать свое мнение и дальше в течение месяца вести подробную взаимоуважительную дискуссию со всеми желающими. Но вскоре блогерам стали предлагать публиковать заказные посты, затем появились тролли и боты, отправляющие определенный набор реплик всем тем, кто им не нравится, далее — как реакция на это — система барьеров — «банов». В результате публичное пространство стало схлопываться и превратилось в набор расширенных частных пространств. Современная блогосфера стала тем, чем были советские кухни.

Что делать, как вернуть публичное пространство в наш дискурс? Во время Майдана 2014 года мне встретился текст, написанный одним из моих друзей: «Конечно, очень страшно и идти не

хочется, но я не могу не пойти». И дальше он начинал это обосновывать ссылками на произведения Майн Рида и Джека Лондона... Из Москвы это казалось детско-юношеской наивностью и романтичностью, но этот недолгий всплеск, который произошел в Украине, позволил там достаточно многое изменить. Для публичного пространства необходимо и даже не нужно соответствовать принципу «сперва думай, а потом говори» — тут часто слово опережает мысль. Но по-другому публичное пространство не работает.

Юрген Хабермас связывал публичность прежде всего с высказыванием, Ханна Арендт — с поступком, действием. Я не вижу принципиальной разницы, ведь и высказывание является действием, а поступок — видом высказывания в публичном пространстве. Вокруг каждого яркого действия возникает собственное публичное пространство. Выходит человек с плакатом — вокруг него начинают собираться такие же люди, и ситуация начинает меняться. Это вечная борьба: каток едет и закатывает все в асфальт — через этот асфальт спустя время неожиданно пробивается трава, следующий каток и эту траву закатывает в асфальт — трава пробивается где-то в другом месте. На мой взгляд, это единственный способ реконструкции публичного пространства в нашем возлюбленном отечестве. Поэтому напоследок остается сказать: действуйте.

*Записала
Наталья Корченкова*



*Инна Березкина,
обозреватель журнала
«Общая тетрадь»*

Когда правоохранительные органы выходят из-под контроля в либеральных демократиях

Стефани Хэйр, независимый исследователь и автор книги об этике технологий, пишет, что полиция Южного Уэльса в тестовом режиме запускает для смартфонов приложение по распознаванию лиц. Приложение должно не только распознавать лица, но и автоматически сопоставлять полученную информацию с данными полицейской базы.

На первый взгляд в новости нет ничего настораживающего, пишет Хэйр. В конце концов у нас и так везде установлены камеры, и нас уверяют, что если нам нечего скрывать, то не о чем волноваться, а значит, можно пожертвовать неприкосновенностью нашей частной жизни, если это помогает полиции эффективнее бороться с преступностью. Но думать так — ошибка. Только люди, которые никогда не были ограничены в своих гражданских правах, могут распоряжаться ими так небрежно.

Чтобы понять, какую безграничную власть дают технологии распознавания лиц, попробуйте сравнить эту процедуру с использованием полицией биометрических данных (отпечатки пальцев и генетическая экспертиза).

Предоставляя полиции доступ к нашим биометрическим данным, мы становимся полноценными участниками процесса, потому что нам надо быть как минимум арестованными и оказаться в полицейском участке. К тому же полиция может получить наши данные только в индивидуальном порядке, невозможно собрать биометрические данные массово. Полиции приходится соблюдать законы, предусматривающие использование биометрических данных, включая срок их хранения. Если мы были арестованы и отпущены без предъявления обвинения или же

следствие вынесло оправдательный приговор, полиция обязана удалить информацию о нашей ДНК и отпечатках пальцев в течение оговоренного периода времени.

С распознаванием лиц совершенно другая ситуация.

Полиция имеет возможность использовать технологию распознавания лиц без нашего ведома. Эти данные могут быть получены массово. В законе нет информации о том, как эти данные могут быть использованы. Если мы отпущены без предъявления обвинения или же оправданы, наши данные могут храниться в течение неопределенного срока. Это ставит нас в ситуацию, в которой мы должны доказывать нашу невиновность, что нарушает один из главных принципов Всеобщей декларации прав человека — мы невиновны, пока не доказано обратное. Технология распознавания лиц потенциально угрожает важнейшим правам граждан.

Полиция Южного Уэльса не может не знать об этом, потому что в Британии вопрос применения технологии распознавания лиц встретил резкое общественное неприятие. Инициатива исходила не только от организаций, занимающихся гражданскими свободами, но и от трех британских регуляторов в сфере защиты личных данных — ответственных за камеры слежения, за биометрические данные и за информацию, а также от членов Палаты общин, а именно Комитета по науке и технологиям, которые призвали объявить мораторий на использование технологии распознавания лиц. Все они признают не только возможные ошибки при реализации системы, но и угрозу праву на личную жизнь и гражданские свободы. Все единодушно признают, что технология, способная идентифицировать людей без их ведома, — мечта любого диктатора, открывающая новую страницу возможностей преследования на основании этнических признаков, религии, пола, сексуальных предпочтений, иммиграционного статуса или политических взглядов.

Либеральные демократии всегда ставили перед собой цель найти баланс между обеспечением свободы и безопасности. Все решения которые гипотетически могут угрожать этому равновесию, будь то технология распознавания лиц или что-то иное, не могут приниматься полицией. Решение должно приниматься парламентом, который представляет общество, считает Хэйр.

Адам Харви, американский активист и расследователь, также углубился в эту тему, потому что случайно обнаружил в базе данных правительства США фотографии коллеги, которые без ее ведома использовались для испытания программы распознавания лиц. Харви считает, что сам термин «распознавание лиц» вводит нас в заблуждение, потому что технически распознавание не останавливается на наших лицах, оно не остановится до тех пор, пока не получит информацию о нашей ДНК.

Но есть и еще один взгляд на проблему. Дэйв Маасс, исследователь и старший научный сотрудник «Фонда электронных рубежей» (Electronic Frontier Foundation — некоммерческая правозащитная орга-

низация для защиты заложенных в Конституции и Декларации независимости прав в связи с появлением новых технологий связи) считает, что решение этого вопроса лежит не в поле законности, а в области морали и этики. Известно, что разработчики программ распознавания лиц тестировали оборудование на фотографиях, находящихся в открытом доступе в Интернете, и никто из людей, изображенных на фотографиях, не давал согласия на участие в эксперименте. Часто ресурсами, которые использовали разработчики для получения информации, оказывались такие крупные компании, как Microsoft, IBM или Facebook, и в этой ситуации все участники процесса руководствовались положениями лицензии некоммерческой организации, наблюдающей за защитой права использования личных данных (Creative Commons). Недавно Райан Меркли, первое лицо Creative Commons объяснил позицию организации, заявив, что изначально лицензирование предусматривало защиту прав интеллектуальной собственности. Возложить на компанию ответственность за защиту индивидуальных данных или за регулирование инструментов сбора информации, применяемых в Интернете, — это ошибка, потому что подобные вопросы должны решаться на уровне публичной политики.

Увы, эксперты единодушно считают, что попытка остановить процесс распознавания лиц обречена на провал. Даже если достигнута договоренность со структурой, которая будет собирать и хранить данные, мы не можем предвидеть ситуации их утечки, взлома системы, смены режима и так далее. Таким образом, невозможно предсказать, у кого в конце концов окажется информация.

Ирина Бороган и Андрей Солдатов, ведущие российские эксперты по вопросам Интернета и безопасности, считают, что источником ограничения свобод граждан и передачи их в руки спецслужб является не только стремление последних к власти, но и запрос самих граждан на большую безопасность. Поскольку западное общество несколько десятилетий живет в относительно мирное время, людям начинает казаться, что стопроцентная безопасность возможна. То есть появляется иллюзия высокой эффективности работы служб безопасности. Не говоря уже о том, что когда происходит какая-либо массовая трагедия (теракт), реакция на нее всегда эмоциональна. А это выгодно и властям, и компаниям, которые производят и поставляют средства безопасности, от камер слежения до рамок металлоискателей. В этой ситуации модель отношений государства и общества, образно говоря, подобна контролю родителей за детьми. Но можно ли говорить, что намерения государства по отношению к обществу столь же искренни, как стремление родителей обезопасить детей?

Ирина Бороган и Андрей Солдатов считают, что эта модель ненадежна и распадается при первом столкновении с реальностью. Следуя логике, которую предлагает государство — гарантия безопасности в обмен на свободы, общество соглашается уступить свои свободы под влиянием



Гари Симмонс. Взрыв. 1996/2003

страха или под действием заведомо ложных аргументов. Но действительно гарантировать безопасность можно было бы, только приставив к каждому гражданину по охраннику. Другой пример гарантии безопасности, близкой к абсолютной, — шведская тюрьма. Нарочитая абсурдность этого примера полезна, потому что доступно иллюстрирует иллюзорность гарантии безопасности в обмен на свободу.

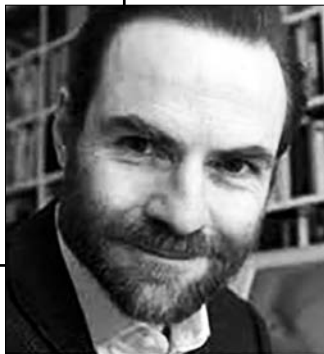
Но если мы понимаем, что отказ от свободы не гарантирует личную безопасность, а является только отказом от свободы, это приводит нас к главной мысли о свободе как абсолютной ценности. Эту свободу невозможно разменять на иллюзорную безопасность. Ее невозможно получить в дар от государства, как и от любого другого источника. Если мы принимаем свободу как абсолютную ценность, мы должны сделать так, чтобы наш голос, голос общества и голос каждого в отдельности, был услышан. Свобода требует глубокого понимания и нашего ответственного к ней отношения.

В тексте использованы материалы:

What is it like when police go rogue in a liberal democracy? Look to Britain. Каково это, когда полиция выходит за рамки дозволенного в либеральных демократиях. Пример Великобритании. Автор: Стефани Хэйр, 14 августа 2019, Washington Post.

Who's using your face? The ugly truth about facial recognition. У кого есть доступ к вашему лицу. Некрасивая правда о распознавании лиц. Автор: Мадхумита Мурхия, 9 мая, 2019, The Irish Times.

Ирина Бороган и Андрей Солдатов: Свобода vs безопасность. Беседа в рамках программы i-forum 2019, Школа гражданского просвещения, 3 апреля, 2019.



*Тимоти Гартон-Эвнс,
британский историк*

Упадок либерализма. Что делать?

Под определение «либерализм» попадает целый спектр понятий, и далеко не всегда речь идет о действительно либеральных вещах. Чтобы проиллюстрировать этот тезис, достаточно вспомнить Владимира Жириновского или калифорнийских либералов, которые довольно близки к коммунистам. Но и собственно либеральный идеологический спектр достаточно широк. Я бы хотел сослаться в этой связи на труд, изданный у нас в Оксфорде, в котором мой коллега Михаэль Фриден предпринимает попытку классифицировать либерализм на Востоке и на Западе во всех его известных проявлениях.

Не будет преувеличением сказать, что в течение примерно двадцати лет после окончания холодной войны идеи либерализма занимали лидирующее положение в идеологическом спектре не только на Западе, но в известном смысле и во всем мире. Но сейчас это уже не так, что заставляет нас, либералов, задавать вопрос: что же произошло?

Или все развивается по правильному сценарию, и то, что делают Владимир Путин, Си Цзиньпин или Реджеп Эрдоган, представляет собой реакцию на распространение либерализма? В свое время ЦК Коммунистической партии Китая был выпущен документ, цензурирующий СМИ, где были отмечены семь понятий, которые не должны упоминаться в средствах массовой информации, и среди них были «либерализм», «западные либеральные ценности» и «конституционализм». Не означает ли это, что сегодня мы можем говорить об антилиберальной контрреволюции, которая как раз во многом и подтверждает успех либерального перехода, произошедшего в свое время? Ведь исторический опыт показывает, что после волны реакции приходит обратная волна — за

реформацией следует контрреформация.

Пример этому — ситуация в Польше, где сейчас активно проявляет себя интеллектуальная и достаточно образованная прослойка молодых людей весьма антилиберальных и скептических антиевропейских взглядов. Одно из объяснений этому можно найти в том, что в течение двадцати пяти лет Польша была территорией так называемого либерального проевропейского дискурса, избыточность которого могла вызвать рост противоположных настроений. Страна представляет собой, на мой взгляд, классический пример тех бедствий и проблем, которые испытывает либерализм. В начале 1990-х в польском правительстве были представлены и левый и правый социальные подходы, но затем верх одержала правая ветвь либерализма, то есть было фактически проигнорировано социальное измерение, что открыло дорогу правому национализму и культурному консерватизму.

Другой пример — Чехия. Я, безусловно, не могу утверждать, что политическое наследие великих общественных деятелей и политиков мертво. Нам известно, впрочем, что президент Гавел потерял популярность в последние годы жизни, но после его смерти вся страна была в трауре и как будто осознала, кого она избрала в президенты. Проблема Чехии в привилегированности политического класса, это пример крайне коррумпированного политического класса, что, кстати, связано, к сожалению, с приватизацией. В свое время в Чехии считали, что темпы приватизации важнее справедливости, качества, она была во многом катастрофической. И в Чехии, когда на выборах

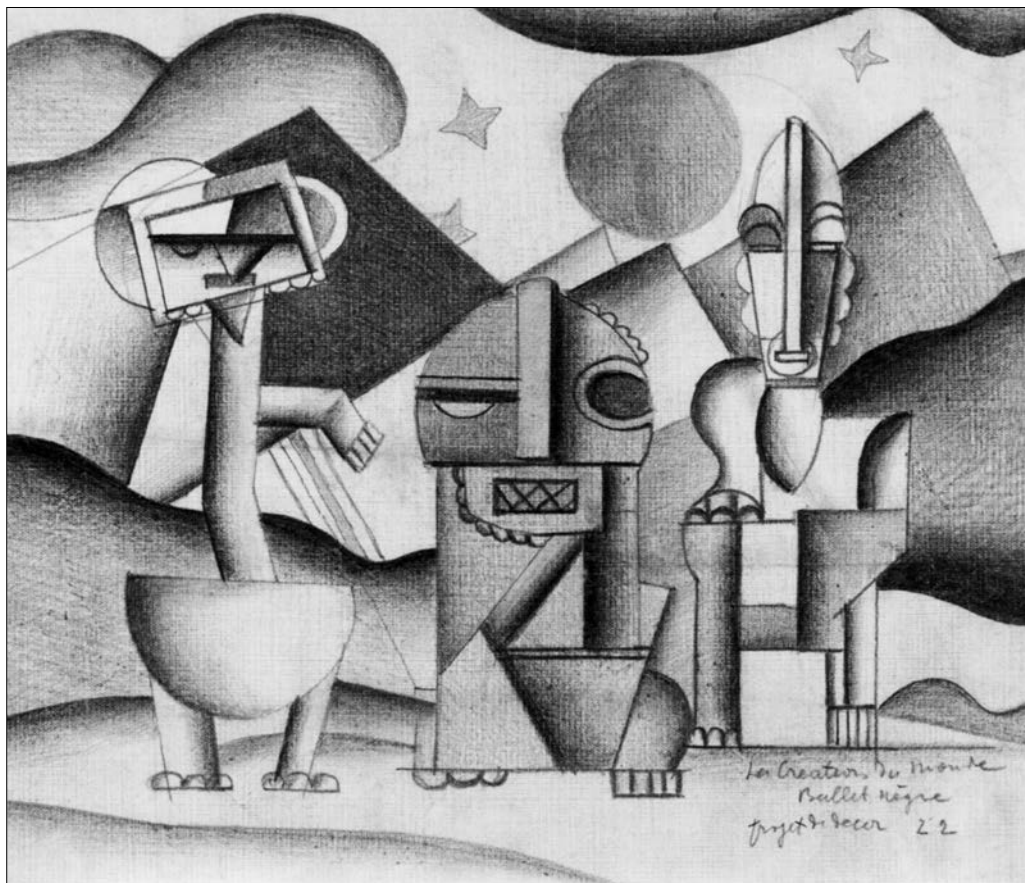
представлены крайне правые и в лучшем случае центристы, мы видим тоже фактически восстание против такого политического класса.

Но все эти возможные ответы не объясняют упадка либерализма. Предлагаю обратиться к проблематике либеральных демократий.

Итак, что же происходит с либерализмом?

Прежде всего важно отметить, что мы уделяли слишком много внимания экономике, хотя либерализм это и культура, и социальная политика. Более того, в экономике мы увлеклись одной разновидностью экономического либерализма — так называемым неолиберализмом. Гарвардский экономист Дэни Родрик характеризует это проблематичное понятие как абсолютный приоритет свободного нерегулируемого рынка, глобализации и монетизации. Это именно та версия капитализма, в которой финансовые инструменты, производные активы играют непропорционально большую роль во всем мире. Поэтому логично вспомнить рассуждения Маркса, в соответствии с которыми финансовая олигархия в первую очередь служит интересам капитала, а не трудового населения.

Финансовая глобализация привела мировую капиталистическую систему к финансовому кризису, начавшемуся в 2008 году. По мнению Мартина Вулфа, этот кризис заставляет нас провести аналогию с тем, что случилось с финансово-экономической системой в 1920–1930-е годы. Прибыли были приватизированы, а потери пришлось на долю налогоплательщиков, что в конечном итоге привело к росту неравенства, которого мир не видел уже около ста лет, и как следствие — к возросшему



Фернан Леже. Сотворение мира. 1923

ощущению несправедливости и безнаказанности капитализма в целом и банковского сектора в частности.

Напомню, как в ответ на попытки правительства президента Обамы внести в налоговое законодательство статью, ограничивающую деятельность хедж-фондов, один из богатейших людей Америки, Стивен Шварцман, сказал: «Это война. Это подобно вторжению Гитлера в Польшу в 1939 году». Интересное сравнение...

Еще одна иллюстрация. В 2014 году я в Великобритании заплатил больше налогов, чем Facebook: за 2014 год эта компания заплатила налогов 4 300 с не-

большим фунтов стерлингов, а я заплатил больше.

Либерализм стал институтом или идеологией элиты, идеологией привилегированных слоев. Нам хочется думать, что либеральная демократия — это устоявшаяся модель развития. Однако элита часто исповедовала либерализм, но далеко не всегда — демократию, тогда как популисты в первую очередь, наверное, заинтересованы в демократии и в гораздо меньшей степени в либерализме. И это ключевой тезис.

Известны свидетельства того, с каким отвращением банкиры с Уолл-стрит относятся к голосованию американцев на

выборах, знаем и о мнении про введение образовательного ценза, что определенным образом тоже характеризует отношение элиты к демократии. Это плохо соотносится с современными принципами эгалитаризма в демократии.

Это характерно и для Восточной Европы, где либеральная элита, например польское шляхетство, из которой выросла интеллигенция, испытывало пренебрежение к крестьянству. Подобное есть и в Великобритании. Представители так называемой метрополии, условного Лондона, противники брексита, высказывающиеся против тех, кто голосовал за выход (консерваторы, небогатые люди), — это почти то же самое, что польские шляхтичи по отношению к крестьянам. Мы не можем не считаться с недемократическим либерализмом, он существует: если вы «неправильно» проголосовали на референдуме, либеральная элита предложит вам проголосовать снова.

Один из специалистов, изучающих механизмы популизма, замечает, что популизм можно назвать нелиберальным ответом на недемократичный либерализм. Премьер Венгрии Виктор Орбан явно приветствовал победу Трампа в США и вполне отчетливо говорил о нелиберальной демократии. Конечно, нелиберальная демократия — это сам по себе оксюморон. По сути, то, что мы наблюдаем сейчас в той же Венгрии, стоило бы назвать гибридно-авторитарным режимом. Но говоря для широкой аудитории, я использую термин «нелиберальная демократия», причем в достаточно конкретном, узком контексте. Я не сказал бы сейчас так, например, про Россию. Но такие страны, которые приближались в свое время к либеральной демократии, находятся теперь в процес-

се отхода от демократии. И мне кажется удобным использовать для этого переходного состояния термин «нелиберальная демократия». Важно понимать, что такое раздвоение, в соответствии с которым «либерализм» становится уделом привилегированных слоев, а «демократия» выступает воззванием другой части общества, не связано только с экономическим неравенством, хотя часто его сводят именно к этому.

Тут есть и другое, более важное обстоятельство, которое можно рассмотреть на примере Германии. Если бы популизм имел отношение только к экономике, то вряд ли каждый из восьми немецких избирателей проголосовал бы за «Альтернативу для Германии». Четверо из пяти проголосовавших за эту партию воспринимают свое экономическое положение как хорошее или очень хорошее. Итак, что же нам остается кроме экономики? Культура.

Оставим в стороне коэффициент экономического расслоения Джини и обратимся к другому типу неравенства, дефициту уважения, когда определенная часть общества остро ощущает дефицит внимания к себе со стороны власти. Вспомним приезд канцлера Меркель в саксонский городок Хайденау, выступающий за «Альтернативу для Германии» после произошедших там выступлений против беженцев и столкновений с полицией. Меркель совершенно проигнорировала популистскую демонстрацию, собравшуюся по случаю ее приезда, и один из демонстрантов сказал корреспонденту журнала «Шпигель»: «Она даже не посмотрела на нас. Она даже задницей своей не посмотрела». Эта лютеранская прямота имеет определенный смысл: «Они не поворачиваются к нам даже своей пятой точкой».

Итак, можно говорить, что эгалитаристские ожидания оказались попранными в отношении определенных групп населения. Безусловно, здесь играют свою роль образование и география. Одним из лучших показателей того, как, в частности, в Британии проголосует тот или иной человек — за брексит или против, — было наличие университетского образования. И второе — географический фактор. Маленькие города, забытые деревни, постиндустриальные города северной Англии. Много ли мы читали, скажем, в *New York Times*, как живут жители американского «Ржавого пояса», до выборов президента Трампа? Много ли пишет об этом уважаемая во Франции *Le Monde* и другие либеральные газеты и журналы?

К дефициту уважения стоит добавить также еще одну тему — политику идентичности. Когда представители Демократической партии США говорят о том, чьи интересы она представляет, они избегают формулировки «мы, народ Соединенных Штатов» и называют более десятка различных социальных групп, ни одна из которых не определяется как «белая раса, представители рабочего класса». В этом дань политической корректности. Два года назад в Германии был проведен опрос, в ходе которого людей спрашивали: «Полагаете ли вы, что в Германии можно открыто выражать свои политические взгляды?» Лишь 57% ответили на этот вопрос утвердительно, то есть почти половина опрошенных не считала, что она может открыто выражать свои политические взгляды. Что отчасти объясняет феномен успеха Дональда Трампа в США и Найджела Фараджа в Англии, которых приветствуют как людей, наконец-то сказавших правду: «Браво! На-

конец кто-то это сказал! Наконец кто-то открыто высказался против либеральной капиталистической элиты с ее нелепым политически корректным политическим языком!»

Либерализм, конечно, подыграл этому нарративу, но не столько в Западной, сколько в Восточной Европе. Не так давно по всему ЕС был проведен опрос, в ходе которого нужно было прокомментировать следующее заявление: «У нас так много иностранцев в стране, что порой я сам чувствую себя здесь чужим». В среднем по ЕС мнения разделились фактически пополам — 50% опрошенных сказали, что порой они чувствуют себя чужаками в своем доме, в Германии и Италии — около 70%.

Думаю, очень важно признать это разделение и тот факт, что это неприятие чужаков нельзя объяснить ксенофобией и расизмом. Это напряжение говорит прежде всего о скорости и масштабах изменений, которые мы наблюдаем и которые переживаются людьми таким образом. Летом 2016 года мне довелось беседовать с жителями в Восточном Оксфорде — в прелестной деревушке с большим сообществом иммигрантов, а я агитировал за то, чтобы Британия осталась в составе ЕС. Собеседниками преимущественно были британцы — выходцы из азиатских мусульманских стран, владельцы маленьких магазинчиков, которые жаловались на «чертовых поляков, восточноевропейцев, которые наводнили наши школы и больницы и забрали у нас всю работу».

Это интересный поворот в проблематике интеграции мусульман в Британии: перед вами британская версия ксенофобии, когда азиаты-мусульмане жалуются на «понаехавших» белых хри-

стиан из Европы. И это обстоятельство было решающим аргументом в голосовании за выход Британии из ЕС. Это не «расизм», они сами с ним не сталкивались, это результат слишком массового и быстрого притока мигрантов.

У Фрейда есть прекрасная фраза, что люди живут не по своим психологическим средствам. Мы — либералы, глобализаторы — просим, чтобы люди жили не по своим психологическим средствам, то есть просим слишком много.

У сторонников Марин Ле Пен был такой лозунг: «Мы у себя дома!» А если бы я должен был ответить на вопрос, в чем смысл этих моих рассуждений, я сказал бы: «Мы, либералы, просто долго игнорировали другую часть нашего общества. Не другую часть мира, кстати, потому что мы часто говорили про другой мир, пренебрегая тревогами своих соотечественников». И получили то, что получили.

Так что же теперь делать?

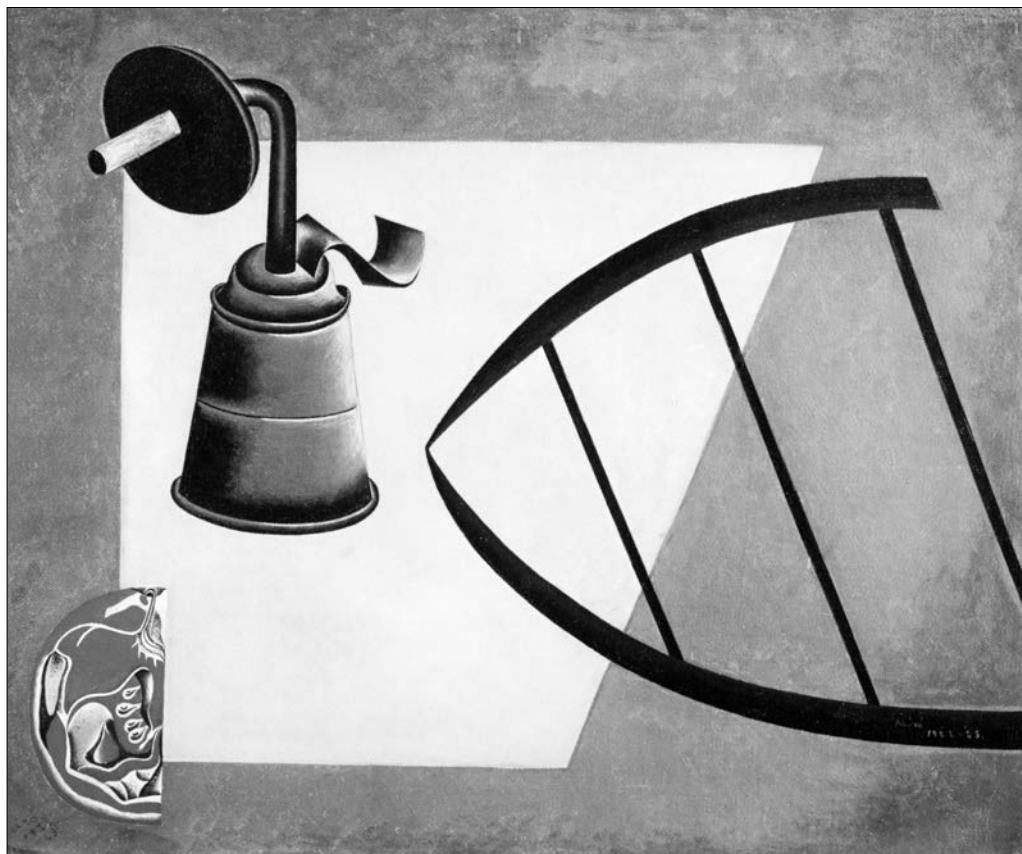
Мы должны, конечно, держаться либеральных принципов, но быть при этом самокритичными. Это непросто, но стратегия борьбы должна следовать за анализом проблем. Сначала анализ, потом диагноз, а потом рецепт. Чего нельзя делать? Ни в коем случае не предавать свои либеральные ценности или идти на компромисс, несмотря на искушение. У британского политолога Марка Леонарда в 2005 году вышла книжка «XXI век — век Европы», в которой он пишет, что, может быть, Европе стоит уйти от универсализма и сосредоточиться на идее своей исключительности. То есть, может быть, нам стоит думать о Европе как об особом пространстве. Я не согласен с этим. Я по-прежнему готов отстаивать то, что называется

«нормативным универсализмом», не антропологическим, потому что либеральные ценности не являются универсалией в антропологическом смысле. Это не тот политический универсализм, о котором мы слышим от Соединенных Штатов и который предполагает, что человек в своем естественном состоянии является либеральным демократом. Нет, это нормативный либерализм. Мы декларируем наши принципы, наши ценности и предлагаем жить, руководствуясь этими ценностями, так как полагаем, что тогда жить станет лучше.

Я считаю, надо называть вещи своими именами. Изучая европейскую историю XX века, можно прийти к выводу, что до 1989–1991 годов за сердца европейцев продолжали конкурировать три идеологические доктрины: коммунизм, фашизм и либерализм. То есть на протяжении почти века было непонятно, какая из них одержит верх. Однако очевидно, что идеологическая конкуренция служит залогом нашей честности, а утрата конкуренции сыграла свою роль в укреплении либеральной гордыни, охватившей многих людей. Конкуренция нужна, потому что даже правильные идеи могут восприниматься как предрассудки, если они не подвергаются критическому анализу. Джон Стюарт Милль говорил: по поводу предметов, о которых возможны различные мнения, истина достигается не иначе, как через сравнение противоположных аргументов.

Со своей книгой «Свободная речь: Десять принципов связанного мира» за полтора года я объездил восемнадцать стран, отстаивая либеральные ценности.

Турция, Египет, Китай, Индия, вся Восточная Европа — в каждой из этих



Жоан Миро. Натюрморт. 1922–1923

стран свобода слова подвергается нападкам. При этом, разумеется, там есть диссиденты, ученые, экспертные центры, молодые люди, защищающие либеральные ценности. Во время этого путешествия, признаюсь, я почувствовал себя оказавшимся, условно говоря, в начале 1970-х годов в Восточной Европе. То есть до Хельсинки, до «Солидарности» и т.п.

Что мы можем сделать для этих стран? Постараться обеспечить притягательность собственного общества, которое можно назвать магнитом Европы, — сделать его более открытым и устойчивым. Либеральный подход не только должен проявить себя в узком, эконо-

мическом, смысле решения проблемы неравенства, например изменения системы налогообложения, но и задумываться о преодолении культурного неравенства. И конечно, необходимо учитывать воздействие цифровой революции, развитие технологий и искусственного интеллекта. Все это уже в краткосрочной перспективе приведет к неизбежному сокращению рабочих мест. В связи с этим либеральные эксперты должны думать о концепции универсального гарантированного дохода и о том, как она может быть реализована. Другая проблема — массовая миграция, переселение людей, которое нужно научиться контролировать. В тео-

рии либеральное общество должно быть открыто для всех и каждого, но в жизни все гораздо сложнее. Необходимым условием либеральной демократии, безусловно, является умение контролировать передвижение людей, товаров и услуг. Мы провели исследование в Оксфорде, чтобы оценить интеграцию мигрантов в пяти ведущих западных демократиях: США, Канаде, Франции, Германии и Великобритании. Какая страна проявила лучшие результаты? Конечно, Канада. Но не потому, что это страна с обширным опытом мультикультурализма в обществе. Мы обнаружили, что скрытый ключ успеха Канады в том, что она единственная из пяти стран, которая способна эффективно контролировать миграционные процессы. Почему? Благодаря географии. В США около 30 миллионов нелегальных мигрантов. Даже не представляю, какая статистика в Британии. И только Канада имеет ясную испытанную десятилетиями политику управления миграцией. Без доминирования какой-либо одной из этнических групп. Джастин Трюдо может лично встречать иммигрантов в аэропорту, может сказать: «Мы в отличие от Дональда Трампа готовы принимать из Сирии 30 000 человек, у нас нет проблемы по этому поводу, потому что все под контролем». Мы же, поддавшись оптимизму, в свое время сделали две стратегические ошибки — создавали Европейский валютный союз и Шен-генское соглашение. Открыли внутренние границы и не обеспечили безопасность внешних границ.

В заключение вернусь к теме отчуждения. Либерализму свойствен технократический язык, который заставлял людей почувствовать, что они чужие на празднике жизни. Один мой друг, как-то выступая с сообщением о брексите в ратуше Ньюкасла на севере Англии, стал говорить про ВВП, и одна пожилая дама встала и сказала: «Господин профессор, вы говорите про ВВП, но это не мой ВВП. Это ваш ВВП». Это абсолютно убийственный аргумент. Разговоры о ВВП, процентах понятны элите, и это понял, например, Трамп, который не говорит на языке элит и технократов. Он говорит на языке людей, выпивающих в баре и смотрящих спортивные каналы. Это язык не столько разума, сколько эмоций и чувств. Напомню, как Обама в ответ на упрек Трампа, что он родился не в США, опубликовал свое свидетельство о рождении. И Трамп тут же отреагировал: «Многие люди чувствуют, что это не настоящий документ, они не думают, а чувствуют!» Для общественного мнения, конечно, важны чувства. Примерно 40–45% американцев и сегодня не уверены, где все-таки точно родился Обама.

Найти язык, который будет больше апеллировать к эмоциям населения, это серьезный вызов и для политиков, и для интеллектуалов, и для журналистов. Но при этом важно, конечно, не оказаться в так называемых сурдокамерах, когда вы пишете замечательные статьи, выходите в эфир, но все это не распространяется дальше круга единомышленников.



*Андрей Колесников,
руководитель программы
«Российская внутренняя
политика и политические
институты»
Московского центра Карнеги*

*Раскол среднего класса**

Протестное лето 2019 года вновь поставило вопрос о среднем классе. Не в том смысле, существует ли он в России, сужается ли на фоне пятилетнего снижения реальных доходов населения, каковы его потребительские приоритеты. Это более или менее очевидно. Он существует. Вопрос в другом — о чем и как он думает?

Доля среднего класса была стабильной — около 20 процентов населения, правда, к 2017-му, по данным Института социально-экономического анализа и прогнозирования РАНХиГС, снизилась до 15 процентов. Класс ниже среднего — самый многочисленный: около 70 процентов населения все последние годы. (Низший же класс пополняется, судя по всему, за счет в том числе бывшего среднего — он вырос с 10 процентов в 2007-м до 14 в 2017-м.) Потребительские приоритеты у среднего класса вроде бы прежние, но становятся скромнее и корректируются контрсанкциями, что влияет на вес потребительской корзины. Но мы поговорим о политических, а не о потребительских предпочтениях российского среднего класса, обращая внимание на социологические исследования, которые стабильно показывают, что требования политических свобод — характерная черта «молодых-образованных-обеспеченных-горожан».

Более точная их возрастная характеристика — когорта 24–39 лет: люди «пожившие», несущие ответственность за себя, работу и(или) семьи. Те, что моложе, скорее предсредний класс (пока не начали по-настоящему зарабатывать сами), пенсионеры — постсредний класс. Словом, вполне очевидное

* Газета Ru 03.09.2019

подтверждение знаменитой «гипотезы Липсета», высказанной политическим ученым Мартином Сеймуром Липсетом еще в 1959 году, согласно которой люди, достигшие определенного уровня благосостояния, начинают задумываться о «высоком» — политических свободах. История России (впрочем, как и многих других стран) то подтверждала, то опровергала «гипотезу Липсета» (в СССР времен перестройки она почти не действовала, хотя одним из двигателей был советский средний класс, но это отдельная тема).

Обмен свободы на нефтяной экономической рост, свершившийся в начале нулевых в силу внешней конъюнктуры и окончания постсоветского транзита, сам собой сформировал специфический средний класс нулевых, росший на нефтегазовых дрожжах, требовавший хлеба и зрелищ, составивший счастье сразу нескольких рынков недвижимости в разных частях света и предъявивший спрос скорее на высокую кухню и услуги сомелье, чем на свободу, равенство, братство. А зачем они, если и так все хорошо?

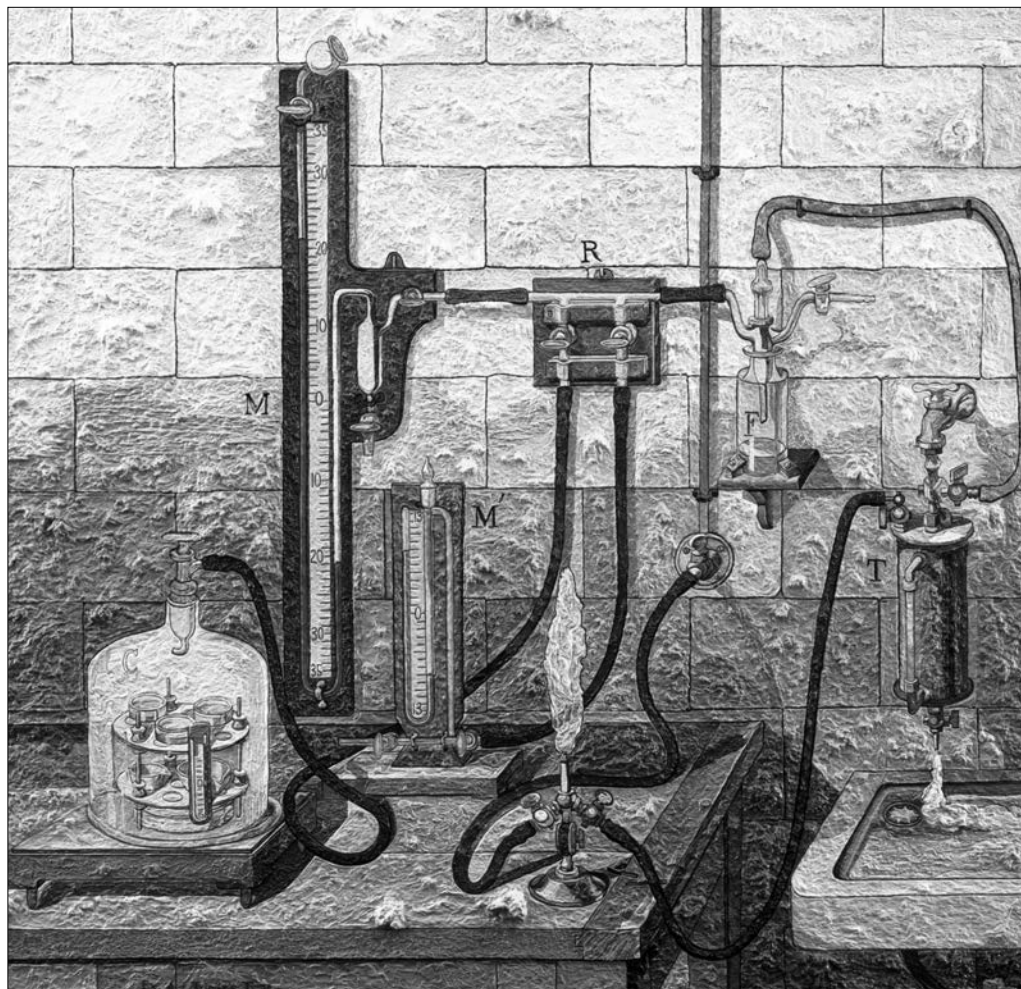
То есть «гипотеза Липсета» не сработала. В том смысле, что вместо гражданина на сцену вышел потребитель.

Потребительское в среднеклассовом человеке начала XXI века переиграло гражданское. Что в целом нормально для массового человека постсоветской эпохи, к тому же пережившего непростой переход к рыночной экономике.

Социальная структура российского общества, несколько оздоровившаяся благодаря экономическому росту в первые годы века, казалось бы, опровергала теории, согласно которым демократия и процветание не живут друг без друга. Высшие социальные слои активнее голосовали за «Единую Россию», чем «нижестоящие». Средний класс начала нулевых был конформным — ему было что терять, «кроме своих цепей», да и «цепи» не казались столь уж существенным ограничением для улучшения качества жизни.

Но как только экономические и социальные показатели начали притормаживать, а структура доходов населения показала медленный, но верный крен в сторону зависимости от государства, а не от рынка и собственности, произошло великое возвращение теорий, согласно которым рост — энергичный, но исторически короткий — возможен в «экстрактивных» государствах, в частности живущих за счет ренты. Но долгосрочную и надежную стабильность дают «инклюзивные» режимы, попросту говоря — сочетающие политическую демократию и нормальную экономическую конкуренцию без политической автократии и экономической олигархии.

Самая влиятельная книга начала 2000-х (если не считать «Капитала в XXI веке» Тома Пикетти) — «Почему одни страны богатые, а другие бедные» Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона, авторов теории «экстрактивных» и «инклюзивных» институтов — увидела свет акку-



Жес. Троица-4. 1964

рат в тот момент, когда новый российский средний класс предъявил спрос на неимитационное функционирование институтов демократии (в частности, выборов) в 2012 году.

Казалось, «коалиция за модернизацию», о которой толковали в период президентства Дмитрия Медведева в Институте современного развития, сформирована, а дух Сеймура Мартина Липсета может успокоиться.

Предположения, согласно которым на площади в 2011–2012 году вышли «бобровые шубы», не оправдались: на улицах находились все возрасты, все гендерные и доходные группы. Но, разумеется, в центре стоял класс, который и должен находиться в середине — средний. Может быть, выделяемый не столько по доходам, самоидентификации и образу жизни, сколько по характеру спроса на работающие демокра-

тические политические институты. Что, впрочем, соответствует критерию образа жизни прежде всего городского. Дух города, как известно из Макса Вебера, рождает свободу («Западный город как в древности, так и в России был тем местом, где совершался переход из несвободного в свободное состояние»).

Тем не менее образование и собственность — главные признаки буржуа (по Томасу Манну, чье мнение, высказанное в «Волшебной горе» еще в 1924 году, подтверждается лучшими современными исследованиями социальных структур, например Бранко Милановича) — могут работать как на конформизм, так и на самые ясно выраженные требования политических свобод.

Кто-то считает, что лучше сидеть тихо и адаптироваться к внешним условиям, оценивая их всякий раз как «новую нормальность» (свободы зажимаются, потребительские настроения плохие, но жить-то можно — и вообще как бы не было хуже, уж лучше так, как есть). А иные, понимая, что у системы есть потолки эффективности (авторитаризм, поддерживая стабильность полицейскими методами, порождает нестабильность, а экономика уперлась в предел эффективности рентной системы, об этом этим летом говорила Эльвира Набиуллина), требуют ухода государства из экономики и политического раскрепощения.

Эта часть среднего класса, рожденного рыночной экономикой, либо готова выйти на улицы, либо не готова, сочувственно или критически наблюдая за теми, кто идет на митинги и шествия.

Но есть и другой средний класс, рожденный отнюдь не рыночной экономикой, а как раз креном государства в сторону «безопасности» и «суверенитета», дирижизма и государственных интервенций в экономике.

Это гигантская армия чиновников. Огромная армия бюджетников. Это — просто армия. И это — силовики, спецслужбисты, следователи, прокуроры, судьи и прочие охранители режима — опора и защита рентного, раздаточного, сословного государства. Сословия служащих, работающих не только напрямую на государство, но на его госкорпорации и госбанки и те частные структуры, чье существование полностью зависит от связей с государством и чиновничеством, составляют существенную часть экономически активного населения. Может быть, еще не большую, но точно растущую. Государство хорошо кормит их, и по критерию доходов и потребительского поведения чиновники, бюджетники, силовики, безусловно, относятся к среднему классу.

Этот средний класс, как сказали бы экономисты, получает премию за профессию. Премию за работу на государство. Как раньше премию за образование получали выходившие на рынок труда. Сейчас, судя по всему, это не совсем так. Не говоря уже о падении значения частной собственности — второй после образования (теоретически) премиальной характеристики среднего класса. «Ночи длинных ковшей» и разно-

образные процессы перераспределения собственности и свидетельства ее незащищенности в России внятно это показали.

Структура доходов населения свидетельствует о безудержной экспансии государства. 2000 год, доля доходов от предпринимательской деятельности — 15,2 процента. 2018 год, доля таких же доходов — 7,5 процента. Доходы от собственности в 2000 году невелики — 6,8 процента. Но в 2018-м они вообще микроскопические — 4,9 процента.

То есть у нормального рыночного среднего класса в России нет доходов от предпринимательской активности. Только от работы по найму.

Результат совместного исследования Московского центра Карнеги и Левада-Центра в 2018 году: 42 процента опрошенных предпочитают работу по найму, 17 процентов хотели бы быть самозанятыми, 30 процентов — начать свое дело. И хотя суммарно стремление к самостоятельности велико, больше того, респонденты хотели бы, чтобы их дети были самостоятельными и независимыми владельцами своего бизнеса (45 процентов!), работа по найму кажется не просто более спокойной, но единственно возможной в условиях недружелюбной к бизнес-активности среды.

Наем не означает обязательно работу на государство. Но на кого еще работать? По самым консервативным оценкам, например расчетам Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, государственное присутствие в российской экономике выросло с 31,2 процента ВВП в 2000-м до 43,8 процента в 2017 году. Причем эта доля включает в себя компании с госучастием, сектор государственного управления, государственные унитарные предприятия (чье число сокращалось). А есть еще масса квазигосударственных и псевдочастных компаний и организаций.

Словом, зависящие от государства граждане составляют увеличивающуюся долю среднего класса. Их легко добровольно-принудительно собрать на контрмитинги, призванные противопоставить провластную точку зрения оппозиционной, или накормить шашлыками — чтобы не шли, куда не следует.

А во время протестных акций средний класс, согласно философу-генетику Брюсу Липтону, сталкивается со средним классом, для которого единственный социальный лифт — государство: силовиками, обладателями официального мандата на насилие и правоприменение.

Получается столкновение двух средних классов внутри одной социальной страты. И разделяет их только одно: разные представления о том, что должно быть источником дохода — государство или частный сектор, сословно-раздаточная система или свободно-конкурентная. Ну, и такая мелочь, как разное видение устройства страны и желаемого будущего.

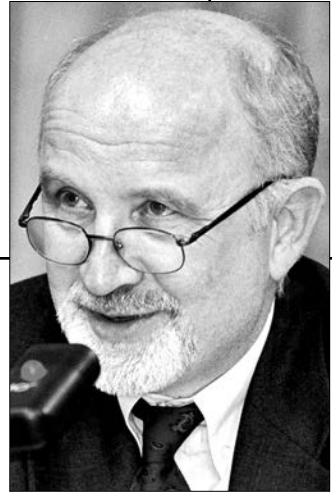
Преодоление разногласий на разделенном континенте

Что могут сделать христиане, чтобы преодолеть разногласия на разделенном континенте? Поиск христианского ответа на этот вопрос не противоречит светским решениям. По словам Ап. Павла, христиане должны слушать закону Божию своим умом (Рим. 7:25). Ум — это дар, которым наделен каждый человек. Христиане верят, что это божественный дар, и он лежит в основе совместных действий между христианами и нехристианами.

Не всегда просто найти разумные ответы, часто они — результат сложных и трудных дискуссий. В большинстве случаев христианская вера не предлагает четких ответов по поводу конкретной политики, поэтому политические взгляды христиан всегда охватывали широкий спектр от правых до левых.

Но из этого правила есть важное исключение — тоталитарные идеологии, которые, безусловно, несовместимы с христианством и с монотеизмом вообще, так как требуют от нас поклоняться земной власти. Христианство же, как и иудаизм, анти тоталитарная религия. Христиане призваны открыто признать, что «должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян. 5:29)

А как же тогда «христианские ценности» в качестве лекарства от разногласий между обществами и странами? Признаюсь, при ответе на этот вопрос я настроен скептически, учитывая, что существуют разные взгляды на эти ценности, не исключающие противоречий между христианами. Поэтому мое возражение: христианская вера первоначально не относится к ценностям, она относится к Богу, к фундаменту человеческой природы, к спасению и благодати. Ответ, который мы даем на вопрос о Боге,



*Михаэль Мертеc,
немецкий публицист
и общественный деятель,
советник федерального
канцлера Г. Коля
(1987—1998)*

влияет на ответ, связанный с вопросом о ценностях, а не наоборот. Христиане верят, что мы несем ответственность за свои поступки перед Богом, а не только перед собратьями, в этом существенная разница.

Я предпочитаю говорить не о «христианских ценностях», а о христианском взгляде на человечество и человеческую историю. Что значит такая точка зрения для примирения индивидов и наций? Пытаясь ответить на этот вопрос, я буду опираться на три темы, которые кажутся мне чрезвычайно важными: 1. Значение опыта Исхода; 2. Различия между другом и врагом; 3. Распознавание правды и лжи.

1. Опыт Исхода

За последние две тысячи лет, пожалуй, немного библейских преданий так вдохновляли людей, как история исхода израильтян из Египта — история коллективного освобождения от рабства. Празднование Исхода на Песах послужило поводом для Тайной Вечери Иисуса со своими ближайшими учениками. Через причастие, через страсти Христовы и воскресение старое предание об исходе приобрело новый смысл, но это совершенно не означает, что предыдущее его значение перестало быть важным.

Десять заповедей, которые получили израильтяне во время похода через пустыню, не просто сборник правил и заповедей, они удивительно начинаются с напоминания: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства...» В свете такой преамбулы, следующие правила и запреты нужно воспринимать как «если ты не

хочешь снова становиться рабом или рабовладельцем, ты должен следовать заповедям и избегать их нарушения».

Так, запрет на «идолов» приобретает новый смысл и становится запретом на то, чтобы падать ниц перед символами земной власти: боги других народов — статуи, созданные людьми из золота и серебра. «Есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят; есть у них уши, но не слышат; есть у них ноздри, но не обоняют...» (Пс. 113)

Эти слова псалмопевца обращены также к идолам недавнего прошлого и настоящего. Многие современные оловянные боги еще более утонченные, чем претенциозные скульптуры и здания, оставленные фашизмом, национал-социализмом или коммунизмом. Сегодняшний культ личности приобретает новые формы и использует новые медиа не только в Китае, но и в западном мире: политические экстремисты провозглашают «священный эгоизм» собственной нации, трансгуманисты хотят, чтобы человек стал творцом самого себя.

«Хомо Деус» — человек становится богом, бестселлер Юваля Ноя Харари, абсолютно противоположен христианской мысли.

Когда мы с Барбарой, моей женой, жили в Израиле, наши друзья пригласили нас как-то на Седер Песах, и во время этой впечатляющей церемонии лидер общины произнес: «В каждом поколении, каждый из нас должен чувствовать себя так, как будто бы он был среди тех, кто ушел из Египта».

Почему это важно для ответа на поставленный вопрос? В какой-то момент своей жизни мы все испытываем освобождение, индивидуальное или коллективное. Как человеческий вид мы спо-

собны осознавать и переживать свой путь через других людей, даже если не разделяем их взгляды. И поэтому можем через историю Исхода, участниками которого были другие люди, отождествлять себя с ними, как если бы сами прошли их путь.

Оглядываясь на Европу XX века, мы видим современных отдельных людей и нации — освободившиеся (или освобожденные). Однако в Европе сегодня существует два взгляда на Исход: западноевропейский и восточноевропейский.

Американский историк Тимоти Снайдер пишет: «Сегодня существует распространенное мнение, что массовое уничтожение людей в XX веке имеет огромное нравственное значение для живущих в XXI веке... Массовое уничтожение людей отделило историю евреев от европейской истории, а историю Восточной Европы — от Европы Западной. Убийство не определяло наций, но все еще обуславливает их интеллектуальное обособление даже спустя десятилетия после падения национал-социализма и сталинизма»*.

Западноевропейский нарратив об Исходе придает особое значение триумфу 1945 года, когда стало возможным подняться из руин, победив нацистскую Германию. Немцы смогли принять как факт собственной истории, что их поражение в 1945 году стало освобождением и для них самих.

Восточноевропейский нарратив об Исходе совсем другой. За освобождением от немецкой оккупации последовала советская власть, которая пренебрегала индивидуальными правами че-

ловека и коллективным самоопределением. Так продолжалось до *annus mirabilis* 1989 года, когда полякам, венграм, чехам и словакам, румынам, немцам из восточной части Германии был дан шанс «вернуться в Европу». Вацлав Гавел и другие диссиденты называли эти страны освобожденными от советского гнета.

Спустя тридцать лет после окончания холодной войны европейская коллективная память и, как следствие, сама Европа остаются разделенными. Европейцы еще не интегрировали восточноевропейский опыт периода 1945–1989 годов в общее понимание поствоенной истории, более того, мирную революцию 1989 года по-прежнему недооценивают на Западе и порой интерпретируют как победу Запада в холодной войне. Но такой подход мешает пониманию мирного самоосвобождения, в которое внесли свой вклад многие христиане.

В 2008 году Европейский парламент объявил 23 августа Европейским днем памяти жертв сталинизма и нацизма. Эта дата отсылает к подписанию пакта Молотова–Риббентропа в 1939 году, который разделил Восточную Европу между фашистской Германией и Советским Союзом Сталина. Но почему нет Европейского дня памяти 1989 года? (Желательно, чтобы он был не 9 ноября, когда пала Берлинская стена, потому что это не в полной мере раскрыло бы историческую ценность польского, чехословацкого, венгерского, румынского и других восточноевропейских движений за гражданские права.)

* Timothy Snyder. *Bloodlands. Europe between Hitler and Stalin*. — London 2011, p. xix.



Фернан Леже. Эскиз настенной росписи. 1938–1939

Революционный 1989 год изменил политическую карту Европы, и, на мой взгляд, европейцы имеют все основания праздновать и ценить то, что было достигнуто тогда.

Подводя итог по первой теме, подчерк-

ну: чтобы преодолеть разногласия на разделенном континенте, мы должны внимательнее относиться к истории Исхода и чувствовать себя так, будто мы сами пережили его. Это общая наша гарантия против возвращения рабства.

2. Различие между «другом» и «врагом»

Вторая тема о сравнительно недавнем расколе касается Европы и европейских обществ, а также США. В чем причина новой поляризации? Простого ответа на этот вопрос нет, а мое объяснение лишь еще один пазл в общей картине. Если коротко, то дело в политике трайбализма (от лат. *triba* — племя) — групповой разобщенности и обособленности. Говоря подробнее, бинарный код наших политических дискуссий сильно сместился с различий «хорошей», «плохой» политики к разнице между «лояльностью» и «нелояльностью».

Я умышленно говорю «трайбализм», избегая термина «популизм», потому что убежден: наши общества попали в ловушку политики идентичности. Политика идентичности — это политика исключительности и в основном касается отдельных групп, а не личного или общего блага.

В последние годы политика идентичности проявляла себя преимущественно в форме антидискриминационной политики в интересах меньшинств и рассматривалась как «левое крыло». Но в то же время оказалась с правой стороны политического спектра, где люди все больше обеспокоены тем, что угрожает образу жизни большинства.

В традиционных условиях политической конкуренции участники исполь-

зуют обычно рациональные аргументы и эмоциональные послания, чтобы убедить как можно большее число избирателей в том, что одни кандидаты более компетентны и решения, которые предлагают они, лучше решений соперника. В случае если после выборов им придется формировать коалицию с соперниками, они прикладывают максимальные усилия, чтобы выполнить все возможные из данных обещаний. Конечный результат здесь — компромисс.

Политика трайбализма следует другой логике: кто не «за» коллектив — социальный класс, этническую группу, религиозное сообщество, тот «против». То есть ты либо обслуживаешь интересы своей группы, либо ты предатель. Логика «преданность» или «предательство» — это вариация различий «друг» или «враг»*.

Скажем, вы не критикуете судей Высокого суда за вынесение приговора, который кажется вам ошибочным, а просто называете их «врагами народа». Политика становится борьбой за выживание. Победа или поражение должны быть безоговорочными. Победенный должен сдаться. Никаких компромиссов.

Самая большая сложность для политиков «трайбалистов» в том, что они часто не могут говорить от имени большинства своей группы, потому что в их рядах слишком много «предателей». Политики «трайбалисты» определяют

* Для немецкого политического теоретика Карла Шмитта (1888–1985), «правового короля Третьего рейха» суть политики заключалась в потенциально насильственном разграничении «друга» и «врага», а не в мирной борьбе за власть, основанной на конкурирующих убеждениях, платформах и задачах. Дихотомия «друг»–«враг» выражает, по Шмитту, героическую концепцию в политике, в то время как либерально-демократическую концепцию он презирал, считая ее коммерциализацией этоса. См.: Carl Schmitt. *Der Begriff des Politischen*. 6th ed. — Berlin 1963. — S. 28–29.

себя как представителей морального большинства. Они не претендуют на то, чтобы поддерживать всех «настоящих поляков», «настоящих французов» или «настоящих венгров».

Одной из причин такой крайней поляризации является трайбалистская исключительность. Что христианство может ей противопоставить? Мне вспоминаются слова Св. Павла (Гал. 3:28): «Нет *уже* Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе». Однако эти слова адресованы главным образом христианскому сообществу, которому угрожает внутренний трайбализм и неуважение к универсальному отношению к Евангелию. Сегодняшние христиане не менее уязвимы политикой трайбализма, чем их предшественники, это особенно касается моментов, когда совпадают этническая, культурная и конфессиональная идентичности.

Католики, протестанты и православные христиане вновь и вновь причиняли друг другу огромные страдания, я говорю не о далеких событиях вроде Тридцатилетней войны. Вспомните о противостоянии между хорватами-католиками и православными сербами в 1990-е годы или о Северной Ирландии.

Ключевой вопрос: как предотвратить превращение политической оппозиции в противостояние «друзей» и «врагов»? Исходной точкой моего ответа являются слова из книги Левит (19:18): «Люби ближнего твоего, как самого себя» —

знакомый нам всем традиционный перевод. Но в более поздних переводах Библии эта фраза точнее выражает исходный текст на иврите: «Возлюби ближнего своего — он подобен тебе»*. Говоря философски и выражаясь словами Иммануила Канта, это значит «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству»**.

Я верю, что ключ к пониманию Христовых заповедей в том, чтобы возлюбить своего врага. Можно сформулировать это как «Никогда не забывай, что твой враг — такой же человек, как ты». Как только я принимаю моего врага как своего ближнего, он перестает быть врагом. Строго говоря, он перестает быть кем-то, кого мне нужно подавлять, побеждать или уничтожать, чтобы выжить. Разумеется, речь не идет о том, чтобы уступать агрессорам, ведь у меня есть право защищать самого себя. Я говорю о постоянной попытке изменить вражду на противоположное ей, именно «невраждебность» открывает дверь к компромиссу.

Мирное время между людьми и нациями, выходящее за рамки прагматического компромисса, предполагает готовность к примирению. Идея примирения имеет особенное значение для христиан, потому что связана с раскаянием и прощением, примирение нельзя рассматривать в политическом и юридическом ключе. Преступник не может требовать прощения от

* См.: Hans-Peter Mathys. *Liebe deinen Nächsten wie dich selbst: Untersuchungen zum alttestamentlichen Gebot der Nächstenliebe (Lev 19, 18)*. — Freiburg, Switzerland / Göttingen, Germany 1990. — S. 46–50.

** Immanuel Kant. *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Akademie-Ausgabe IV, s. 429)*.

жертвы, а жертву нельзя заставить простить его. Не существует ни права на примирение, ни обязанности примиряться.

Спустя восемьдесят лет после того, как моя страна развязала Вторую мировую войну, и спустя семьдесят пять лет после операции «Нептун» мы должны помнить о выдающемся вкладе христиан в примирение в Европе с 1945 года. Как немец, я говорю об этом с огромной благодарностью и верю, что дух примирения и, что более важно, ощутимые жесты примирения были по меньшей мере столь же значимы для продолжительного этапа мирного времени в Европе, как и политика сотрудничества и взаимодействия, которые сформировали и изменили лицо Европы за последние десятилетия.

Позвольте мне привести лишь два примера, которые особенно много для меня значат. Иосиф Рован и Владислав Бартошевский — два христианских героя примирения, которых я имел честь знать лично. Они были друзьями моего покойного отца, который родился в 1921 году и был солдатом вермахта во время войны.

Рован был рожден как Иосиф Розенталь в Мюнхене в 1918 году. Его семья обратилась из иудаизма в христианство и в 1933 году, в самом начале нацистского режима, эмигрировала во Францию. Они точно предвидели, как будут развиваться события в Германии. После того как немцы вторглись во Францию, Иосиф Розенталь стал членом французского Сопротивления и взял псевдоним Рован.

В феврале 1944 года он был арестован гестапо и отправлен в концентрационный лагерь Дахау. Уже осенью 1945 года, через несколько месяцев после своего освобождения солдатами американской армии, он опубликовал известное эссе *L'Allemagne de nos mérites** («Мы получим Германию, которую заслуживаем»). Я процитирую лишь два предложения оттуда: «Всякий раз, когда оскорбляют человеческое достоинство моего соперника, это ранит меня самого»; «Чем больше наши враги утрачивают черты человеческого лица, тем больше мы должны уважать и даже приукрашать эти черты в себе».

Бартошевский родился в Варшаве в 1922 году, содержался в Аушвице с 1940 по 1941 год как член польской католической интеллигенции и стал лидером подпольной христианско-еврейской организации, которая спасла жизни около 75 000 евреев. В 1944 году он участвовал в Варшавском восстании. Вместе с другими оппозиционерами стал пионером польско-немецкого примирения после войны, несмотря на то что коммунистический режим воспринимал его как предателя польской национальной идеи. В конце 1970-х Бартошевский вошел в независимый профсоюз «Солидарность». В 1981 году после введения военного положения был арестован как диссидент. После падения коммунистического режима в 1989 году дважды становился министром иностранных дел Польши.

Бесчисленные европейские христиане утвердились в своей вере, в том духе

* *Joseph Rován. L'Allemagne de nos mérites // Esprit, vol. 13, No. 115, October 1st, 1945, p. 529–540.*



Р.Б. Китай. Банда Огайо. 1964

примирения, который остается источником невероятного воодушевления. Для мира в Европе недостаточно политики или экономики, необходим голос примирения. Этот голос часто теряется в гневном гуле трайбализма, но он небесполезен. Он — свидетельство того, что существует альтернатива. Перефразируя Иосифа Рована, мы получим ту Европу, которую заслуживаем.

3. Между «правдой» и «ложью»

Последнюю часть выступления, посвященную различиям между «правдой» и «ложью», я хотел бы связать с тремя цитатами из Евангелия от Иоанна. Первая цитата — слова Иисуса: «Я есмь путь, и истина, и жизнь...» (14:6), вторая — слова Пилата: «Что есть истина?» (18:38), третья цитата — «... и истина сделает вас свободными» (8:32).

Я часто думал о том, что имел в виду Пилат, задавая свой вопрос. Возможно, его просто интересовали факты, и тогда его вопрос можно было бы трактовать как «я хотел бы знать, что действительно произошло». Если бы он был скептиком, он бы утверждал, что истина не может быть познана. Но, возможно, он был релятивистом? Тогда его вопрос можно было бы сформулировать как «ваша истина или моя — зависит от индивидуальной перспективы». А может быть, он просто циник? И тогда его вопрос означает: «Меня не заботит истина, все, что меня волнует — принесет это ущерб или выгоду моей власти».

Определение истины — один из важнейших предметов философии, и я бы не осмелился разобраться с ним за несколько минут. По мысли Иммануила Канта, истина — это «регулятивная идея», цель, которую мы всегда должны иметь в виду, даже если знаем, что никогда ее не достигнем. Если мы держим в голове эту цель, она помогает нам обнаружить ложь.

Истина обнаруживает себя через соответствие между утверждениями и фактами, словами и поступками, верой и жизнью. Подумайте о предложении Вацлава Гавела о том, что мы должны стараться всегда «жить в истине». Мне кажется, Гавел вплотную подходит при этом к важному аспекту, о котором говорит Иисус: о согласованности между путем, истиной и жизнью.

Новый раскол, происходящий сейчас в Европе и европейских обществах, не в последнюю очередь связан с отношени-

ем к правде и точности, как к фундаментальной основе доверия. Проблема заключается в безразличии, а не в сознательном выборе лжи. Безразличие хуже, чем релятивизм и цинизм. Релятивисты и циники по крайней мере признают, пусть даже имея искаженный взгляд, что концепция истины имеет значение. Конечно, никогда не было «старых добрых времен», когда все было «намного лучше». Но сейчас мы переживаем настоящую техническую революцию в политической коммуникации, которая бросает прямой вызов нашей способности и готовности различать правду и ложь: фейк-ньюс, теории заговоров, армии троллей, эхо-камеры, ненавистнические высказывания, кибер-харрасмент, онлайн-файерстормы и так далее. Перед нами фундаментальная проблема утраты понимания истины как регулятивной идеи. Сошлюсь в этой связи на замечательное эссе американского философа Гарри Франкфурта *On Bullshit* («О брехне», 2005).

В частности, Франкфурт писал: «Отсутствие заботы об истине — ...безразличие к тому, как обстоят дела на самом деле, — вот суть брехни»*. «Современное распространение информации... различные источники форм скептицизма, лишаящие возможности иметь надежный доступ к объективной реальности, лишают нас одновременно возможности узнать, как обстоят дела на самом деле»**.

Назову три причины такого развития событий: во-первых, наблюдается прогрессирующий уклон значительной части журналистики в «журналистику»,

* *Harry G. Frankfurt. On Bullshit. — Princeton, 2005. — P. 33–34.*

** *Ibid., p. 64.*

феномен, который Ник Дэвис описал в своей книге «Новости с плоской Земли». «Работая на фабрике новостей, не имея времени на проверку фактов, не имея возможности выйти в поле, чтобы найти контакты, репортеры сводят все к “журнализму”, пассивной обработке материала, который в подавляющем большинстве случаев они получают от телеграфных агентств и PR-служб»*.

Другая причина в том, что мы живем в дивном новом мире коммуникаций, где эмоции стали важнее аргументов. В прошлом тысячелетии, в связи с появлением типографской печати культура буквы сделала слово сильнее изображения. Я не могу избавиться от ощущения, что мы переступаем порог новой средневековой эпохи, где изображение завоевывает былое превосходство. До тех пор пока это развитие не сопровождается снижением читательских и писательских способностей, трагедии нет. Гражданами, которые читают и пишут, сложнее манипулировать, чем теми, кто зависим от фотографий и мелькающих изображений. Демократия нуждается в буквах.

И последняя, но не менее важная причина: в мире, терзаемом трайбализмом, вопросы правды и лжи не кажутся важными. С точки зрения трайбалистов, выраженная правда может быть формой нелояльности. Значение теперь имеет не правда или ложь, а хорошо ли это для моей группы. Борьба с подобным отношением — христианский долг.

Почему и каким образом правда освобождает нас? Поскольку я не теолог, отвечу на этот вопрос, опираясь на политическую терминологию. Меньшее, что мы можем сказать, исходя из исторического опыта, что неправда проложит дорогу к крепостному праву. «Верьте в правду. Отказаться от фактов, значит отказаться от свободы, — пишет Тимоти Снайдер в своей книге «О тирании». — Если не существует правды, значит, никто не может критиковать власть, потому что на это нет никаких оснований. Если правды нет, тогда все спектакль»**.

Это всего лишь несколько фрагментарных размышлений о проблемах, с которыми сталкиваются многие люди, и в их числе я, испытывая чувство беспомощности. Относительно их нет простых и однозначных «христианских решений», но есть что-то вроде христианского компаса, который помогает нам ориентироваться в тумане, наряду с верой и любовью — великими христианскими добродетелями. Относительно добродетели я унаследовал прекрасную мысль от отца: «Самоуверенность (как чрезвычайная вера в божественное прощение) и отчаяние (как абсолютное отсутствие доверия к божьему прощению) — то и другое “богохульство против Святого Духа”». «Но главный из этих грехов — отчаяние», — добавлял отец.

*Перевела с английского
Юлия Тарковская*

* Nick Davies. *Flat Earth News*. — London, 2008. — P. 73.

** Timothy Snyder. *On tyranny. Twenty lessons from the twentieth century*. — New York, 2017.

Самоограничение власти как моральный и персональный выбор*



*Леон Арон,
директор российских
программ
Американского института
предпринимательства*

События последних лет напомнили нам о политических лидерах. Причем не столько о лидерах по выработке сиюминутной ежедневной политики, сколько в формировании национальной культуры, в выборе идеалов и целей для своих наций. Трамп, Путин, Эрдоган, Си Цзиньпин — можно продолжить этот список. Роль лидеров и роль власти, естественно, становится еще большей в период становления государственности или ее обновления — Перикл, Ганди, Мандела, король Хуан Карлос, де Голль, Ататюрк (и этот список можно было бы продолжить). Вы видите, что в этом ряду имен две тенденции: первая — к увеличению власти государства над обществом, вторая — к уменьшению этого влияния, к самоограничению власти. Здесь парадигматическим является отказ Вашингтона от трона и короны, которые практически преподносили офицеры континентальной армии после победы в войне за независимость Соединенных Штатов. Вот об этой тенденции в новейшей российской истории, а именно в период 90-х годов, мне и хотелось бы поговорить.

Я бы выделил шесть центральных моментов самоограничения власти как морального усилия в становлении новой российской государственности.

Первый момент связан с конституцией и конституционными прерогативами парламента. В феврале 1994 года, когда национальному парламенту исполнилось два месяца, Дума приняла закон о полной и безоговорочной амнистии руководителей вооруженного восстания октября 1993 года, а также так назы-

* Выступление на семинаре Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы в Сеговии (Испания) 28 мая 2019 г.



Жан Пуни. *Богатство форм*. 1919

ваемых путчистов августа 1991 года. Трудно найти в истории и, по моему, совсем невозможно найти такой случай в российской истории, когда режим, только что с трудом подавивший восстание, отпустил бы на волю не раскаявшихся и совершенно открыто об этом говоривших врагов. Которые в случае победы, видимо, казнили бы проигравших. В моей биографии Ельцина есть ссылки на то, какие разговоры происходили в Белом доме при Руцком и Хасбулатове. И когда речь зашла, что они вот-вот победят, спор шел о том, сразу ли они казнят Ельцина или как Стеньку Разина будут возить до этого по городам и весям. Проигравшие были отпущены не только без условий и оговорок, но и без всяких ограничений на политическую деятельность (суть была в том, что по Конституции право амнистии дается Думе). Многие потом стали депутатами, а, например, Руцкой губернатором.

Поэтому, когда мне говорят, что решение Думы привело Ельцина в ярость и он пытался это решение не выполнять, принял отставку прокурора, пытался написать указ о повторном аресте, но в итоге принял решение... Так вот, хочу сказать, что это было не просто самоограничение, это было самопреодоление. Для огромного роста уральца, бывшего секретаря Свердловского обкома (Свердловск был третий по индустриальной базе город Советского Союза после Москвы и Санкт-Петербурга), а потом секретаря Московского городского комитета партии (самая большая партийная организация в СССР) и члена Политбюро это было самопреодоление.

Повторю, в российской истории не было примера такого драматического разрыва с национальной культурой.

Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, это отказ от безраздельного владения правом, то есть законами и судами. Было решение Верховного суда в 1995 году о расширении юрисдикций районных и областных судов. Им давалось право рассматривать решения судов всех уровней с точки зрения соответствия Конституции. Одним из самых ярких и важных моментов стало решение в декабре 1999 года об оправдании по делу о шпионаже и государственной измене, которое ФСБ возбудила против капитана военно-морского флота Александра Никитина. Решение вынес суд Санкт-Петербурга. Кстати, оправдательный приговор базировался исключительно на статье Конституции, которая запрещала ограничивать доступ к информации и ее распространение. Адвокат Никитина заметил, что это был первый оправдательный приговор в России по составу предъявленного обвинения спецслужбами в государственной измене. В сентябре 2000 года кассационная жалоба была рассмотрена Верховным судом, который подтвердил оправдательный приговор.

Тут дело еще в том, что когда обвинение было выдвинуто, по инерции Никитина арестовали. Он сидел в тюрьме 10 месяцев, но потом суд освободил его под залог, и он находился на свободе в течение 5 лет, пока проходил процесс. Учитывая характер обвинения, а также тех, кто его выдвинул, это также было беспрецедентно для российской юриспруденции.

Может быть менее ярким, но, пожалуй, и более значительным в плане самоограничения власти стали индивидуальные иски и иски групп граждан, оспаривавшие административные акты правительства. Среди них было, в частности, решение Московского районного суда по иску мэра Владивостока Виктора Черепкова, который оспаривал акт президента России о его увольнении. Суд нашел решение президента незаконным и через 12 дней Ельцин подписал указ о восстановлении Черепкова в должности. Всего с 1993 по 1998 год число таких исков граждан к государству выросло с 9700 до 91 300. В среднем в четырех случаях из пяти суды выносили решения в пользу истцов.

Кстати, одним из самых известных решений было решение по иску от 220 000 пенсионеров, которые оспаривали государственный закон о коэффициенте начисления пенсий.

Третьим моментом я бы назвал эволюцию критериев национального успеха. Это, мне кажется, один из самых важных моментов. Что я имею в виду? В политической культуре и истории России величие страны синонимично величию государства. Поэтому государственное строительство всегда, кроме, может быть, реформ Александра II, в итоге сводилось к модернизации государства, к увеличению его эффективности и усилению власти над обществом. Вспоминается известный меморандум Николая Карамзина к Александру I, в котором он писал: «Первая обязанность государя — сохранение внутреннего и внешнего единства государства. Забота о благополучии общественных классов и индивидов должна быть на втором месте». А вот цитата из обращения президента России 12 июня 1997 года по поводу Дня независимости: «Великая держава — это не горы оружия и бесправные граждане. Великая держава — это самостоятельные талантливые люди с инициативой. В основе нашего подхода к построению российского государства есть понимание того, что наша страна начинается с каждого из нас. Единственная мера величия Родины — это то, в какой степени каждый гражданин России свободен, здоров и образован».

В связи с тенденцией к пересмотру критериев национального величия необходимо вспомнить об одном из так называемых проклятых вопросов в российской истории, а именно о соотношении внутреннего прогресса, с одной стороны, и сохранении империи — с другой. Императив сохранения империи всегда тормозил и даже прерывал внутреннюю либерализацию. Так было с реформами Александра II, которые были прерваны польским восстанием. Так было с хрущевской либерализацией, которая была прервана венгерским восстанием 1956 года. Так было и с косыгинской реформой, которая была прервана Пражской весной 1968 года, подавленной советскими танками.

Что же касается начала 1990-х, то впервые в российской истории руководство страны попыталось сознательно отделить имперское мышление от российской национальной идеи и от российской государственности. Президент писал в то время: «Россия всегда окружала себя пространством, в котором она доминировала, непрерывно расширяясь. Она напрягала все силы, захватывая все больше и больше территорий, и так оказалась в прямом конфликте со всей западной цивилизацией. Такая степень самоизоляции невозможна».

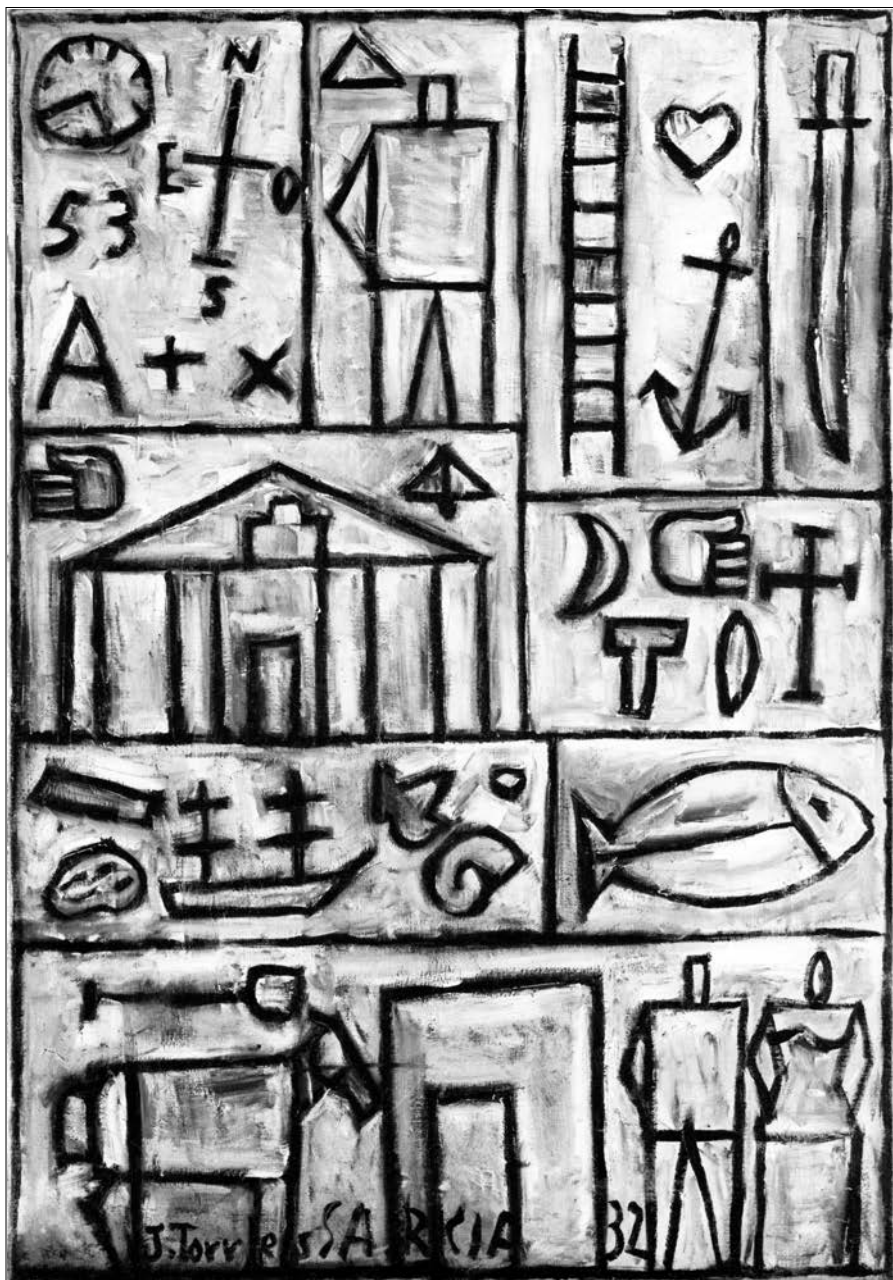
И конечно, нельзя не вспомнить в этой связи переговоры с Украиной. Вообще, мне кажется, в истории колониальных и постколониальных разделов трудно найти прецедент, когда неизмеримо более мощная метрополия вела переговоры с отделяющейся территорией на протяжении такого времени и с таким терпением. Достаточно вспомнить, как

происходило разделение Англии и Ирландии, Индии и Пакистана, и конечно, Сербии, Боснии и Хорватии. Не говоря уже о том, что процесс переговоров с Украиной, в том числе по разделу Черноморского флота с сохранением за достаточно высокую плату военно-морской базы в Севастополе, происходил под колоссальным давлением в Госдуме со стороны национал-патриотических сил.

Четвертый ключевой аспект и момент самоограничения власти связан с еще одним проклятым вопросом — выбором между диктатурой и унитарностью, с одной стороны, и демократическим федерализмом — с другой. Проблема в том, что Россия велика и разнообразна, чтобы быть одновременно унитарной и демократической. Она должна выбирать. Унитарность в ее истории обеспечивалась, как известно, авторитаризмом, то есть монархией или диктатурой. И наоборот, региональное самоуправление всегда было следствием либерализации или ослабления центра, от земских соборов при Иване Грозном до земств Александра II и в какой-то степени до хрущевских совнархозов. Так вот, мне кажется, что 90-е годы было единственным десятилетием, когда страна была не авторитарной и целостной.

И последние два очевидных аспекта государственного самоограничения: ликвидация государственной монополии на экономику и политику. После программного выступления Ельцина 28 октября 1991 года V Съезд народных депутатов РСФСР (28.10 — 2.11) принял постановление одобрить принципы радикальной экономической реформы, в том числе либерализацию цен, приватизацию и сокращение бюджетных расходов. Спустя два месяца, 29 декабря, президент обратился к народу. На этот раз это была речь не просто одного человека. Это было экспрессивное выражение доминантной тенденции к самоограничению власти. Я хочу о ней коротко сказать, потому что в ней содержится все то, что продолжает оставаться актуальным сегодня. Президент России говорил, что решение об отпуске цен и отмене государственной монополии в экономике стоит в одном ряду с дебольшевизацией России, и как следствие — с ее демилитаризацией и новой концепцией поведения в мире. С контролируемыми ценами, говорил он, мы оставляем миражи и иллюзии, так как стало окончательно ясно, что коммунистическую утопию построить невозможно. Но не Россия оказалась побежденной, а коммунизм. Избавляясь от государственной собственности на экономику, страна избавляется от милитаризации сознания, от нечеловеческой экономической системы, почти полностью работающей на вооружение страны. Россия прекращает постоянную подготовку к войне со всем миром, и железный занавес, который отделял Россию от окружающего мира, исчезает навечно.

И наконец, последний момент — о самоограничении государства с точки зрения его собственности и контроля над политикой. Тут много говорить нет смысла. Я просто хочу привести известный факт: в 1993–1999 годах был проведен один референдум и состоялось четыре общенациональных



Хоакин Торрес Гарсия. Композиция. 1932

выбора. И ни один из них не вызвал сколь-нибудь серьезных нареканий, ни со стороны оппозиции, ни со стороны международных наблюдателей. И те и другие, кстати, имели неограниченный доступ к результатам голосования. И в считанные недели после мятежа 1993 года был отменен запрет на участие в политической жизни всех националистических партий, кроме пятерых активных участников восстания. Были узаконены выборы губернаторов — об этом был декрет 1991 года. Но власть не отступила,

она не пошла на попятную даже тогда, когда на выборах в 1996 году треть губернаторов перешла на сторону оппозиции, и лишь половина губернаторов, которые были до этого назначены, были переизбраны. И что еще интересно: в выборах 1996 года при очень сильной поддержке так называемых красных губернаторов коммунистический кандидат Зюганов победил Ельцина в 32 из 89 регионов.

И в этой же связи — по поводу отступления государства от контроля над политикой. А именно — о снятии контроля над общенациональным диалогом, то есть над свободным распространением информации и идей, учитывая, что без такой свободы выборы теряют легитимность и смысл, так как избирателей не информируют о происходящем. Речь идет, по сути, о полной свободе средств массовой информации. Я бы даже сказал, что такого не было в российской истории, кроме периода с февраля по октябрь 1917 года. Да, 4 октября 1993 года в России была введена цензура радикальных оппозиционных газет, но уже через две недели она была отменена — одновременно с отменой запрета на оппозиционные политические партии.

И последнее. В результате отступления государства от контроля над общенациональным диалогом, выборы президента 1996 года стали, по сути, еще и референдумом по войне в Чечне. Поскольку средства массовой информации были одним из самых важных факторов ее прекращения через два месяца после выборов. Я хочу процитировать правозащитника Сергея Адамовича Ковалева: «Война была выиграна свободой слова. В 1996 году более прозорливые политики понимали, что страна не поддержит никого, кто не пообещает прекратить кровопролитие. Именно в этот момент Ельцин принял несколько широко публичных мер к разрешению конфликта. Именно в этот момент генерал Лебедь привлек избирателей обещанием немедленного мира. Это, по сути, была прямая демократия в действии. У общества были механизмы оказания давления на власти, чтобы заставить их поступать так, как считает общество, а не так, как хотят сами власти».

Это, пожалуй, был тоже первый случай в истории российской государственности, когда военные действия были прекращены в результате волеизъявления граждан.

И напоследок историческая картинка и еще одна цитата. Рассказывают, что после окончания Конституционного конвента 1787 года в Филадельфии из толпы, окружавшей здание администрации штата Пенсильвания, выбежала женщина и спросила у Бенджамин Франклина, какое государство они придумали для Соединенных Штатов. Франклин ответил: «Республику, миссис». Потом на секунду задумался и добавил: «Если вы сможете ее удержать».

Нет сомнения, что тенденция к самоограничению власти в России в 1990-е годы действительно имела место, но удержать ее оказалось гораздо сложнее, чем кто-либо тогда предполагал.



*Михаэль Сульман,
председатель Шведского
института международных
отношений,
исполнительный директор
Нобелевского фонда
(1992–2011)*

Нордическая модель – пример Швеции*

Для своего выступления я выбрал тему: «Нордическая модель в мире», чтобы рассмотреть ее в контексте мирового развития. Мир переживает не лучшие времена. Наблюдается снижение темпов роста по разным причинам: демографическим, инвестиционным, технологическим и так далее. Связано это с частичным крахом неолиберальной политики в целом и политики в области финансового, банковского сектора в Соединенных Штатах и в Европе.

Этот финансовый кризис начался с 2007 года, когда разные пирамиды типа МММ в России рухнули с очень тяжелыми последствиями. В наиболее трудном положении оказалась Европа, еврозона, которая недостаточно адекватно реагировала на сложившуюся ситуацию. Одновременно также наблюдается увеличение различий по доходам и по состоянию в разных странах.

В связи с этим даже самые крупные мировые капиталисты — так называемая публика Давоса (место в Швейцарии, где, как вы знаете, ежегодно встречаются видные политики и экономисты) — заинтересовались, почему в Европе самые успешные (или наименее неуспешные) — северные страны, скандинавские, включая Финляндию. Как так? Ведь у них высокие налоги, что должно тормозить развитие, а получается наоборот. В чем состоит эта северная модель?

Ключевые точки отсчета

С начала прошлого века мы видим, что развитие в США сопровождалось серьезным спадом во время кризиса 1929 года, затем следует постепенный, довольно медленный подъем. Во время Второй миро-

** Выступление на международном семинаре Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы в Стокгольме 23 апреля 2019 года.*

вой войны производство увеличилось очень сильно: там делали военную технику, как колбасу, поточным методом. В итоге получили прекрасно развитую промышленность.

Швеция не сильно пострадала во время Первой мировой войны, и кризис по сравнению с другими странами затронул ее в незначительной степени. Был спад во время Второй мировой войны, в которой страна не участвовала, но при этом большая часть мужского населения была мобилизована на случай вторжения нацистской Германии. Конечно, это сказалось на производстве не лучшим образом.

России Первая мировая и Гражданская войны нанесли очень тяжелый урон. С середины 20-х годов здесь начался подъем экономики, хотя большие расходы шли на оборону. Во время Второй мировой войны — гигантские потери, но после снова — восстановление экономики. После распада СССР с начала 90-х до их середины — непрерывный спад, а затем рост до 2014 года и стагнация до сих пор.

Начиная с 1990 года происходит равномерное развитие Швеции. Короткие спады были в 1991–1993 и 2008–2009 годах, когда по Европе, России и всему миру ударил финансовый кризис. И все же Швеция за последние 20 лет развивалась успешнее, чем большинство стран еврозоны. А страны, которые не вошли в ЕС, развивались еще медленнее.

Благосостояние и счастье

О степени развития свидетельствуют критерии благосостояния человека. Этот показатель выражается не только величиной душевого дохода, поэтому в рамках Программы развития ООН был

создан многогранный индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) — Human Development Index. В него входят ожидаемая продолжительность жизни, уровень образованности, состояние здоровья, уровень жизни человека по паритету покупательной способности. Все это определяет возможности благополучного развития индивидуума.

В первой десятке по показателю на первом месте в мире Норвегия, затем — Швейцария, Австралия, Ирландия, Германия, Исландия, Швеция. В Норвегии высокая продолжительность жизни — 83–84 года; почти по всем параметрам норвежцы не особо отличаются от шведов (7-е место), но у них доходы значительно, почти на треть, выше, чем у нас, благодаря воле Бога, который распорядился нефтью.

Интересно, что по ИРЧП большинство стран в первой десятке — протестантские или лютеранские. И есть еще один — на мой взгляд, достаточно спорный — показатель: рейтинг, оценивающий уровень счастья. Сегодня это модное направление социальных исследований. В него, помимо критериев ИРЧП, включаются уровень доверия, стабильность семей, гражданские свободы, готовность помогать друг другу, множество других показателей. Среди лидирующих по этому индексу стран опять в первой десятке в основном малые или средние протестантские страны.

Однажды в разговоре с моим финским другом я сказал, что эксперты доказали: в Финляндии самый счастливый народ в мире. На это он ответил: «Какая чепуха! Тогда как же у остальных, если мы — самые счастливые?» Суть его комментария: в финском обществе это невозможно. Несмотря на то что Финляндия 650 лет входила в состав Швеции, потом сто лет



Пабло Пикассо. Голова спящей женщины. 1909 (фрагмент)

была в Российской империи, финны остались более глубокими лютеранами, чем шведы. А лютеранам не надлежит показывать, что они счастливы, богаты; считается, что мир полон несчастья, надо бороться с грехом, с виной перед всеми. Это общая психологическая установка лютеранства — так было, во всяком случае, — и поэтому им очень трудно согласиться, что они самые счастливые.

Исследования в рамках проекта World Values Survey (Всемирный обзор ценностей) показали, что северные страны устроены достаточно рационально. В ходе этого глобального исследования была построена графическая модель ценностей в разных регионах мира. По вертикали на ней отражается степень традиционализма и рациональности. Слева от вертикали — страны, где прио-

ритетна ставка на выживание, справа — на самопроявление, развитие личности. В этой схеме выше и правее — протестантские страны Европы: Финляндия, Нидерланды, частично — Германия, Швейцария. Однако здесь выпала наиболее интересная позиция. В протестантских европейских странах высоко доверие к рациональным общественным решениям — люди здесь не полагаются на семью, а доверяют государству. В этой системе максимально реализуется самостоятельный, индивидуальный подход, когда человек чувствует себя свободным от ограничений, которые ему не нравятся. Верхняя позиция в этом рейтинге у Швеции.

Северная модель: каковы ее особенности?

В северной модели развития очень высок уровень доверия между людьми и между людьми и властью, что объясняется многими факторами. Исторически сложилось так, что еще в католические времена в Швеции церковные приходы были довольно самостоятельными, независимыми от Рима. Люди могли, например, потребовать ответа от пастора, как он использовал средства, которые собирала община. Это привело к наименее коррумпированной в международной перспективе системе управления: хорошо работающие институты, самостоятельные суды, свободная пресса.

К этому надо добавить традицию, унаследованную с времен варягов, — достаточно высокое равенство. Ведь в Скандинавии, за исключением частично Дании, феодализм не сформировался по-настоящему. В Швеции парламент, который впервые был созван в

1435 году, представлял четыре сословия, в нем присутствовали крестьяне — конечно, зажиточные, но крестьяне. Такого не было в других европейских странах. В Швеции не было крепостничества, за исключением короткого времени, когда мы владели частью Германии, где еще было крепостное право.

Швеция, как и вообще Европа, особенно в XIX веке, была вдохновлена идеалами Просвещения. Причем это отразилось не только на аристократии — тогда появилось множество разных обществ, союзов — религиозных и иных, которые действовали независимо от государства, и даже отчасти против государства, правительства, создавали свободные церкви, общества по борьбе с алкоголизмом — чрезвычайно тяжелым пороком в то время, ставили различные цели, которые достигались так называемыми народными движениями.

Швеция: через века к демократии

До сих пор шла речь об общих чертах развития скандинавских стран. Теперь — хотел бы более детально остановиться на Швеции. С конца XIV века существовала так называемая Северная уния, объединившая в 1397 году королевства Дании, Швеции и Норвегии. И все было благополучно, пока во главе Унии стояла датская королева Маргарита. Со временем, однако, в Унии нарастали трения и прямые военные конфликты, и в результате восстания 1521–1523 годов Густав Ваза (Эрикссон) въезжает в освобожденный от датчан Стокгольм (романтическое изображение этого события можно увидеть в Национальном музее в Стокгольме), после чего уния прекращает существование.

В годы правления страной (1523–1560) Густаву Вазе удалось сформировать достаточно самобытную культуру, постепенно освободив Швецию от влияния датчан. Главное — он провел реформацию церкви и шведы приняли лютеранскую веру; были существенно сокращены доходы епископата, Церковь была лишена права вмешиваться в дела государства.

В конце XVI века после кончины Густава Вазы в Швеции происходило противостояние его сыновей. В 1592–1599 годах королем Швеции считал себя Сигизмунд III, внук Густава, тогда король Польши. Но он был католиком, а Швеция — лютеранской страной. Его дядя Карл IX разгромил 25 сентября 1598 года войско Сигизмунда в 200 км от Стокгольма. Что очень важно, это навсегда утвердило лютеранство в Швеции.

XVII век — короткая эпоха шведского великодержавия. В то время Швеция контролировала Балтику, в городе-крепости Ниеншанц (на территории нынешнего Санкт-Петербурга) отлично работал шведский почтамт. Тогда шведы контролировали немецкое и польское побережье Балтийского моря — практически всю Балтику. Это закончилось в 1718 году, когда правильно нацеленная норвежская пуля убила Карла XII, который постоянно воевал. После длительных переговоров и убедительных действий Петра I Швеции пришлось заключить Ништадтский мир. Тогда Швеция потеряла Прибалтику и покинула лигу великих держав.

Однако страна еще около 100 лет пыталась воевать с Россией, чтобы вернуть Прибалтику. Кончилось тем, что в 1809 году Швеция потеряла и Финляндию, а короля Густава IV Адольфа послали в Швейцарию и выбрали нового короля, наследника престола.

Им совершенно случайно стал французский маршал Жан-Батист Бернадот*, очень успешный военачальник. Была идея пригласить его, чтобы он мог опять развязать войну против России, вернуть Финляндию. Но он был более умным человеком, взвесил все возможности и очень успешно весной 1812 года встретился с императором Александром I. Они договорились о мире, нейтралитете и поддержке Швеции. То есть Бернадот фактически выступил против своего бывшего начальника, Наполеона. Тогда и Александру был очень нужен друг в его европейской игре. Говорят, что он сказал незадолго до смерти: «У меня был только один друг — король Швеции».

Как в Швеции, так и в России очень важным временем стали 60-е годы XIX века. В стране происходят изменения в экономическом законодательстве, отменяются гильдии, которые до тех пор были своего рода монополиями, устанавливается свобода предпринимательства. Также реформируется Конституция, действовавшая до 1970-х годов: отменяется система из четырех сословий, парламент становится двухпалатным.

Однако главная развилка в отношениях между Швецией и Россией случилась в связи с Февральской и Октябрьской ре-

* В 1810 г. Бернадот оставил службу у Наполеона; в августе того же года избран риксдагом кронпринцем Швеции, принял лютеранство, стал практически правителем Швеции, вступил на престол короля в 1818 г. под именем Карла XIV Юхана и правил страной до 1844 г. Основатель правящей династии Бернадотов. (Прим. ред.)

волюциями в России. В Швеции в то время существовало серьезное противостояние между организованными рабочими, социал-демократической рабочей партией, профсоюзами и руководящей верхушкой.

Дело в том, что Конституция 1809 года, которая действовала тогда, не была полностью парламентской и демократической: не все граждане имели право голоса. Но социал-демократия в Швеции выбрала меньшевистский путь постепенных реформ, то есть отказалась от революции. В 1917 году здесь тоже была высокая социальная напряженность из-за нерационального планирования народного хозяйства, регламентации цен на продовольствие. Проходили стачки, хлебные демонстрации — вообще, положение было нервное. Швеция могла пойти по пути Финляндии, где разразилась гражданская война между радикальными левыми и буржуазно-демократическими силами, окончившаяся в мае 1918 года. Но все могло развиваться и по немецкому сценарию: революция, народные волнения и в итоге приход Гитлера к власти.

Так или иначе, но когда в январе 1918 года преданные большевикам матросы из Красной гвардии разогнали Учредительное собрание (многих впоследствии расстреляли), в Швеции в это время шли демократические процессы: легализация партий, наделение правом голоса женщин, закрепление других прав и свобод. И с этого времени ведет отсчет современная шведская демократия.

Экономика

Коротко обрисую картину экономического развития Швеции. Мы прошли все три этапа индустриально-промыш-

ленной революции. Первый связан с переходом к машинному производству. Второй вызван массовым применением паровой энергии и электричества в XIX веке. Очень важно, что тогда были построены вузы, которые обучали инженеров. Следующий этап — 20-е годы XX века, когда в стране развивалось конвейерное производство по американскому типу. После войны, и особенно в течение последних 40 лет, активно развивается экономика. Это ясно видно по удельному весу промышленных работников, количество которых постоянно растет и достигает максимума в 60-х годах XX века. В тот период Швеция поднимается на мировом рынке: мы были второй страной по выпуску огромных танкеров, производили автомобили, как легковые, так и грузовые. Сейчас мы владеем сектором производства грузовиков Volvo, и компания процветает. Грузовики Volvo и Scania занимают видное место среди продукции этого ряда. Также производятся разные виды тяжелого оборудования для промышленности. А с 70–80-х годов Швеция занимает достойное место в области развития IT-производства и услуг. Кроме того, в стране прекрасно развита медицинская сфера.

Шведский парламент

XX век в Швеции стал временем активного рабочего движения, действий сильных консолидированных организаций. Первая из них — организация профсоюзов рабочих. Она использует идеи социал-демократической рабочей партии. В XX веке появляется общество распространения знаний для рабочих, возникают профсоюзы служащих. Сегодня один из важнейших профсою-



Анри Матисс. Урок игры на пианино. 1916

зов в стране — это объединение людей, которые получили высшее образование. Профсоюзы сыграли важную роль в том, что страна не пошла по пути нацизма или коммунизма. В 20-х — начале 30-х годов Швеция ощутила влияние всемирного экономического кризиса, но в достаточно мягком варианте. Совершенно случайно какой-то бухгалтер в Госбанке решил: раз английский

фунт пустили в свободное плавание, то и со шведской кроной надо поступить так же. Мы девальвировали тем самым крону и смогли смягчить негативное влияние мировой конъюнктуры. Но общая ситуация в стране была достаточно напряженной. И тогда социал-демократы, поступившись своими принципами, согласились на сделку с фермерами: они поддержали их в обмен на то,

что фермеры предприняли активные меры по трудоустройству «лишних людей». Такая поддержка, в общем, противоречит принципам свободного рынка, но она дала нужный результат: в стране снизился уровень безработицы, и это лишило оснований активизацию коммунистов и нацистов.

В 1938 году профсоюзы и Союз работодателей заключили рамочный договор о коллективных договорах. Это очень важный шаг для своего времени, так как до этого были нередки забастовки, которые создавали неопределенность, снижали эффективность производства, расшатывали социальное пространство. Суть соглашения такова: пока нет договора, обе стороны свободны предпринимать определенные действия — забастовки, протесты и т.п. Когда же договор заключен, его надо выполнять в течение периода, на который он распространяется. Таким образом был достигнут социокультурный консенсус.

Так постепенно — в процессе экономического развития, реализации социальных реформ — строилось то, что у нас в Швеции называется *Folkhemmet*, или Дом для народа, где всем и каждому должно быть уютно. Здесь все должны чувствовать себя дома, все граждане — часть единой семьи. Эта идея использовалась, чтобы строить общество на основах просвещения.

С 30-х по 70-е годы XX века идеологическую гегемонию имели социал-демократы, даже несмотря на то, что большинством в парламенте они были в течение относительно короткого времени. Они настаивали на необходимости проведения крупных социальных реформ, резко повышающих доходы людей, в то время как оппозиционные партии не выступали прямо против этого, но предлагали

действовать не так быстро, не так щедро. Оппонентами социал-демократов были буржуазные консервативная, либеральная партии, а также партия фермеров, которая теперь партия политического центра. Коммунисты были немногочисленны, их количество в парламенте колебалось от 5 до 10% — на волне симпатий к СССР после Второй мировой войны. Решающего голоса они не имели, а объединяться с партиями буржуазного толка против социал-демократов, естественно, не могли по идейным соображениям. Поэтому им оставалось либо вообще не голосовать, либо поддерживать социал-демократов. В итоге именно так образовался довольно прочный блок.

В 70-е годы XX века в Швеции случился экономический сдвиг. Без учета мировых реалий в стране продолжали развивать социальную сферу значительно больше, чем позволяли ресурсы. В 1973 году ОПЕК повысил цены на нефть, это чувствительно ударило по экономике. Решив, что это временное явление, правительство страны оказывало бюджетную поддержку промышленности, в том числе судостроению. Но одновременно началось быстрое падение конкурентоспособности из-за завышенной оплаты труда на единицу произведенного продукта. Последовал целый ряд девальваций, и в 1976 году буржуазные партии победили на выборах, предлагая еще более щедрую бюджетную поддержку, чем социал-демократы. Однако вскоре им пришлось от этого отказаться.

В 1982 году социал-демократы возвращаются восстанавливать равновесие в экономике. Но это у них не получилось, и в 1991 году победу опять одержали буржуазные правоцентристские партии. 1994–2006 годы снова стали временем социал-демократов.

В 2006 году сложился так называемый альянс из четырех партий несоциалистического толка. Они объединились под руководством лидера консервативной партии Фредрика Райнфельдта, который довольно дерзко переименовал партию в Новую рабочую партию. Получилось, что партия, которая всегда защищала интересы богатых, вдруг стала партией трудящихся.

Такие политические флуктуации продолжались до 2014 года, когда социал-демократы получили поддержку партии зеленых и бывших коммунистов — ныне Левой партии.

Процесс партийного строительства в Швеции идет до сих пор. Так, на прошедших в 2018 году выборах образовались три блока, но никто не имел большинства. К тому же появился новый игрок: так называемые шведские демократы. Это националистическая партия, которую основали бывшие нацисты, она активно выступает против иммиграции в Швецию, и корни у нее явно «коричневые». Сегодня нацисты немного «пероделались», сейчас они не выступают открыто, но от ведущих деятелей партии можно услышать заявления, что евреи — это не шведы. Как же так? Евреи живут в стране 200 лет, внесли большой вклад в развитие культуры Швеции. Конечно, они шведы! Представители левого блока не хотят иметь дело с нацистами, но в рамках альянса из четырех партий две — правая (умеренная) и христианские демократы — считают, что со «шведскими демократами» надо вести диалог. В то же время либералы и центристы (бывшая партия фермеров) солидарны в этом вопросе с левым блоком. После очень долгих переговоров сейчас в правительстве Швеции — социал-демократы и зеленые. Они не обла-

дают парламентским большинством, но против них не голосуют либералы и центристы, которые не хотят сделок с так называемыми шведскими демократами. Условием для того, чтобы они пассивно и активно поддерживали миноритарное правительство, стало соглашение из 73 пунктов, в котором есть очень трудные для социал-демократов положения. В итоге получилось выработать компромисс. Нынешний шведский премьер давно выступал за сотрудничество между левым и правоцентристским блоками, что привело к некоторому их сближению, но все же конструкция эта пока довольно шаткая.

Сегодня и завтра

Сегодня страна стоит перед определенными вызовами. Несмотря на то что по сравнению с другими странами мира неравенство в распределении благ в Швеции и северных странах относительно невелико, оно быстро растет. Это касается как зарплаты, так и доходов в целом. Связано это в значительной мере с технологическим прогрессом. Конечно, те, кто изобрел программу Скайп (датчанин и швед. — *Прим. ред.*), стали миллиардерами. В стране растет число миллиардеров и вообще богатых людей. Но неравенство увеличивается, с моей точки зрения, также из-за несовершенства нашего налогового законодательства. К тому же, несмотря на общий экономический рост, снизилась социальная поддержка населения. Пособия по безработице теперь не такие щедрые, как прежде. Наконец, мы столкнулись с проблемами иммиграции и интеграции приезжих, поэтому сегодня перед Швецией стоит вопрос о развитии страны в будущем.

Бизнес. Ответственность. Доверие



*Сергей Петров,
предприниматель,
основатель, председатель
Совета директоров группы
компаний «Рольф»*

Я хочу остановиться на двух вещах — инвестициях и доверии. С примерами из бизнес-практики. Вначале небольшое терминологическое определение. Бизнесом я называю не то, что у нас принято называть. Вся российская бизнес-структура для меня делится на государственную или ведущую себя как государственная. Например, олигархическая, поскольку поведение в этой среде отлично от поведения конкурентного бизнеса: права собственника без мотивации создают колоссальную разницу в поведении работающих на этом рынке. Эта структура создает 70% российского ВВП. И еще 30% производит конкурентный бизнес, который и является для меня бизнесом. А государственные и олигархические структуры — это последствия того, что мы, выйдя из Советского Союза, не знаем другой модели и возвращаемся к ней при первой возможности.

Поэтому начну с инвестиций, о понимании их большинством людей. Даже работая в Госдуме, разговаривая с людьми из бюджетного комитета или теми, кто принимает законы, которые действуют сегодня, я заметил, что они понимают инвестиции как деньги. Так вот — это не деньги, эта субстанция более сложная. Я пытался объяснить, что бизнес можно начать с одним долларом в кармане, если у вас есть репутация и компетенции, позволяющие делать бизнес. Обычная реакция на такие слова: «Ну, что-то там этот идеалист говорит, но мы-то знаем, как жизнь устроена».

Люди подходят и спрашивают: «А что такое LIBOR?» Я объясняю, что это London Interbank Offered Rate...* А речь идет, например, о допуске иностранных бумаг

* Средневзвешенная процентная ставка по межбанковским кредитам, предоставляемым банками. (Прим. ред.)

на российский рынок. Смотрю, голосуют, не обращая внимания на сказанное. Спрашиваю: «Зачем вы спрашиваете тогда, зачем это нужно?». Отвечают: «Ну, я хочу знать... И вот Рашкин голосовал так же, а я ему верю, он хороший экономист». То есть слушают одно, но делают, как привыкли. И сделать с этим ничего нельзя. И законы у нас такие, какие есть.

Я сейчас рассказываю о своем опыте. Я начинал бизнес в 36 лет и ничего не знал, хотя заканчивал советский вуз по торговле. Чему там учили, — даже не буду сейчас говорить. Так вот, инвестиции — это комплекс знаний, действий, ресурсов, который включает помимо финансов и ноу-хау. Например, Аэрофлот начинает работу на новом рынке. Это крупная структура, имеющая валютный доход. Вдруг выясняется, что наши самолеты ТУ-154 съедают 5,5 тонн топлива в час, а Аэробус-А320 такой же по вместимости — 3 тонны. Ясно, что самолеты нужно заменить. Аэрофлот обращается в консалтинговую компанию McKinsey, и там объясняют, что надо сделать то-то и то-то. Ведь как Аэрофлот жил? Ему предоставляли самолеты бесплатно, и с каждого заработанного доллара он 0,8 долл. оставлял себе, а остальное отдавал государству. И это была модель, далекая от реальной экономики — экономики прибыли, убытков и выживаемости. Результат: в компании, например, не было специалистов, которые умели бы правильно заказывать запасные части. Например, глазки, через которые смотрят на пилотов, у них заказаны на 100 лет вперед, но реально необходимых запчастей нет. И они не знали, как это делать по уму. И вот McKinsey объясняет, что для начала нужна статистика по тем компонентам, которые чаще отказывают в работе.

Похожая ситуация была у меня в автомобильном бизнесе. Станции техобслуживания «Жигулей» заставляли нас иметь как можно больше дефицитных распределительных валов, например. А когда мы начали работать в новых условиях, задача стала иной. Допустим, заменялись лобовые стекла. Их поставка была раз в неделю. А нужно было сделать так, чтобы как только последнее стекло заканчивалось, тут же поступала новая поставка нужного количества. Поэтому нужно было, конечно, все просчитать и как можно меньше денег в виде запчастей держать на складах, потому что деньги должны работать — это проценты и реальная валюта.

Никакие инвестиции не будут работать без добротной статистики, понимания каких специалистов и чему нужно обучить, какие бизнес-схемы применять. Это первое, с чем мы столкнулись, когда поняли, что нам нужны специалисты, причем не обязательно именно по запасным частям.

Первыми инвесторами нашей компании были иностранные банки. Нам сказали, что готовы сделать инвестиции под 7% (против 15%, которые предлагало тогда государство), если только все дела будут прозрачными и понятными.

Как в автомобильном бизнесе в то время крали налоги? Что я под этим подразумеваю? Например, я открываю свой центр «Ауди-Север», а два уже существующих центра — центр «Москва» и центр на Таганке — ввозят импортные машины по заниженной стоимости из Финляндии, где у них организован поток. Они платят меньше таможенных пошлин, меньше НДС и получают сверхприбыль в наличных от покупателей. И два владельца этих центров меня спрашивают:

«Что ж, ты будешь ввозить по реальной стоимости?» Я ответил, да, мы продаем так всю нашу продукцию. Они возразили: «Тогда ты будешь получать с одной машины 3 тысячи, а мы получаем 8. И вы все равно ничего не сможете продать». И действительно мы в течение двух лет ничего не могли продать, потому что конкуренты говорили покупателям: «Принесите нам предложение от «Рольфа» и мы продадим вам на тысячу долларов дешевле».

Доверие – это колоссально значимая категория, которая работает и в бизнесе, и в политике. Конечно, изначально не нужно красть и нужно подбирать правильных людей

Так вот, банки-партнеры нам объяснили: вы можете получать прибыль при занижении импортной стоимости машин на 40%. Но при этом должны организовывать дополнительный денежный поток, заводить отдельную бухгалтерию; платить проверяющим — все это дополнительные траты. И самое главное, ваш сотрудник получит в результате полное право красть у вас запчасти, потому что вы крадете налоги и он это знает. А если вы работаете прозрачно, получив наши инвестиции, то сможете выйти на открытый рынок, привлечь новых инвесторов.

Все это явно не соответствовало нашим привычным знаниям, так как большинство было уверено, что бизнес пойдет на что угодно, если есть прибыль в 300%.

Повторяю, инвестиции — это не просто вложение денег. Это обучение тому, насколько важно, чтобы эти деньги пришли из источника, где будут вам доверять, понимая, что вы относитесь к бизнесу как к высокоморальному делу и перестанете нести чушь о 300% прибыли. Инвесторы не знают, как работать с поставками или запчастями, но они знают к кому вас отправить, чтобы вы этому научились. Потому что они вкладывают в дело свои деньги и деньги тех старушек, которые принесли их в банк. Такой бизнес выгоднее: не надо красть налоги — можно работать долгосрочно.

Знаете, дилерский автобизнес такой: вы продаете машины, но производитель должен предоставить вам автомобили как бы в пользование. Использовать российские деньги очень дорого, выгоднее просить иностранные, то есть более дешевые деньги. Дешевые деньги позволяют



Рожэ де ла Френе. Завоевание пространства. 1913

держат большие склады. Прибыльность на машинах очень маленькая, это очень низкомаржинальный бизнес. Сегодня мы вообще новые машины продаем в минус. А чтобы компенсировать потери, подключаем обслуживание, продажу подержанных автомобилей и др. У нас в какой-то момент появился и импорт, и дилерские центры. Компании с оборотом в миллион и оборотом в миллиард управляются по-разному. Мы этого не понимали, пока не научились. То есть инвестиции не просто помогали делать бизнес, а помогали делать его при-

быльным, долгосрочным. И деньги в этом играют важную, но не главную роль. Все почему-то считают, что Российский фонд благосостояния выделит для чего-то деньги и сразу все наладится. Ничего не изменится, потому что, скорее всего, деньги либо неэффективно потратят, либо растащат. Изменится что-либо только вместе с комплексом знаний о том, как бизнес работает на самом деле.

Приведу такой пример. В самые удачные годы (2003–2008) доходы федерального бюджета составляли приблизительно 100 миллиардов долларов в год. 40 миллиардов оставляли в экономике, а остальное уходило в фонды. А от иностранных банков мы получали еще 100 миллиардов в год чистыми. И эти деньги были самыми эффективными, потому что они приходили вместе с знаниями, в том числе с знаниями о рисках. Это сложная наука, которая приходила к нам через тысячи каналов. А самые вредные деньги — это государственные инвестиции, которые ничего не дают, но развращают и разгоняют инфляцию. Итак, инвестиции должны приходиться из правильного источника.

Второе условие эффективного бизнеса — **доверие**. Низкая цена и инвестиции — это функции доверия. Я расскажу на своем примере, что доверие вещь обоюдоострая. Наша компания постоянно соперничала с довольно эффективной автодилерской компанией «Авелон». 10 лет назад ко мне приходили два «авелоновца» с предложением объединиться. На тот момент они зарабатывали 3,4 миллиарда прибыли, а мы всего 2,8. Переговоры закончились ничем, и за десятилетний период мы в процентном соотношении инвестировали одинаково. А сегодня ожидаем заработать 15 миллиардов, а они все те же 3,4 миллиарда. Я попытался выяснить причину неудач «Авелона». Сотрудники мне рассказали, что в компании сложились два клана — вокруг исполнительного директора и финансового, который его проверяет, потому что акционеры не доверяют своим менеджерам и просят их контролировать. И оказывается, что трение на этом уровне стоит так дорого, что за 10 лет можно потерять 10 миллиардов. Потеря происходит оттого, что сблизившись в два клана все сотрудники, и все знают, что если предложение идет от исполнительного директора, то отдел финансового управляющего никогда его не поддержит. Недоверие, склока убивают дух. Уже никто и не пытается делать предложения, которые могли бы принести инвестиции. Нет единой цели, доверия.

Однако если вы сегодня предложите «Газпрому» полное доверие, то украдут сразу все. Так что это работает только с правильной командой, когда на 10 «наших» людей принимается 2–3 новых сотрудника. Это тончайшая настройка: если вы сразу предлагаете новым сотрудникам «встроенные ценности» и воспитываете их, тогда доверие работает.

Я знаю множество компаний, которые очень много инвестируют, но не получают доходов от них (с учетом девальвации даже уменьшают показатели). У всех бывает воровство — и у них, и у нас. Кого-то пой-

мали и даже возбудили уголовное дело. В нескольких компаниях признаются, что у них есть агенты, которые ловят вора, но не отдают под суд, а заставляют стучать на тех, кто крадет. Логика типично полицейская, она есть и на уровне государства и спустилась на уровень бизнеса. И люди, работающие там, не знают других отношений.

Человеческое воображение довольно бедное. Попробуйте себе представить что-нибудь ярче солнца. Не получится! И если человек никогда не видел апельсина, то он не попросит апельсиновый сок, потому что не знает, что такой есть. И вот эти люди тоже не знают, как по-другому бороться с воровством. Если вы не доверяете людям, вы начинаете контролировать каждый их шаг.

Знаете, наш пограничник не может самостоятельно принимать решение, пускать вас или нет. В любой другой стране, если отказала компьютерная система, как было однажды в 2008 году у нас в Домодедово, мне говорили: «Да пусть идут. Пусть пройдет один шпион, но не держать же людей!» А у нас 2000 человек заставили ждать, пока компьютеры не наладят. То есть совершенно другая логика. Притом что иммиграционный офицер может принять любое решение. И если бы нашим офицерам позволили так поступать, то через некоторое время они научились бы принимать самостоятельные решения. На доверие откликаются очень быстро.

Один директор крупного банка говорил своим сотрудникам: «Знаем, что крадешь, но не можем поймать». И человек, услышавший такое, думает: «Все равно я здесь числюсь вором. Зачем тогда честно работать?»

Я спрашивал своих менеджеров: «Если вы захотите, вы сможете чего-нибудь украсть?» Они отвечают: «Да легко, Сергей. Можем включить в бюджет на этот год ремонтов разных по три раза». И это логика, которую может построить российский силовой класс. Он так экономику видит. Он сам готов воровать и будет подозревать всех в этом.

Но при этом мы видим, сколько наши конкуренты за 10 лет потеряли только из-за недоверия. Везде колоссальные затраты на проверку.

Наш менеджер, перейдя работать к конкурентам, впервые увидел, что ключи от продаваемых автомобилей хранили в ящике под столом. И предложил повесить для этого специальный ящик. Но оказалось, что для этого нужно было написать заявку, которую подтвердит финансовый отдел. Финотдел ответил, что в следующем году, может быть, они внесут эти затраты в план. Тогда менеджер купил ящик на свои деньги. В «Рольфе» он принимал миллионные решения, по которым потом просто отчитывался, а здесь он не может купить ящик за 600 долларов, чтобы развесить ключи. Владелец бизнеса компенсировал затраты, но не изменил систему, потому что у него нет понимания, как на самом деле работает система доверия.

Так что доверие — это колоссально значимая категория, которая работает и в бизнесе, и в политике. Конечно, изначально не нужно красть и нужно подбирать правильных людей. Не все работает прямолинейно,

но через 10 лет у нас изменится страна и будут другие люди, сами принимающие решения. Им не придется контролировать друг друга.

Норвежский налоговый инспектор, в отличие от российского, сам принимает решение о штрафе на любую сумму. Отсюда отсутствие необходимости иметь 18% силовиков в трудовой армии.

Обратите внимание, какой колоссальный возврат от банкротства компаний. При триллионе «долгов», который завис, потому что его не может отдать бизнес, возврат составил 22,1 миллиарда, то есть меньше каких-то долей процента от общей суммы. Банкир, видя, что не может расплатиться, увеличивает процентные ставки по депозитам, чтобы вы принесли ему деньги, и расплачивается ими. Но однажды и это его не спасет. И тогда начинают работать силовики, занимаясь погоней за банкирами, судебная система растет.

Все центры «Рольф» строила австрийская фирма «Унгер». Она строила качественнее, но дороже российских строителей. С какого-то момента иностранным работникам пришлось уехать из России. Потому что избыточное бюрократическое регулирование, вызванное недоверием и законодательством, построенном на недоверии, заставило нас использовать в строительстве следующий метод: начинать строительство, еще не получив все разрешения, получая разрешение буквально за неделю до открытия, рискуя потерять вложенные средства. Так поступать может только российская компания. В результате те центры, которые построил «Унгер», спустя 10 лет в прекрасном состоянии, а те, что недавно построила наша строительная компания «Ташир», — текут, ржавеют и нужно делать капитальный ремонт.

В Соединенных Штатах проводили исследование о доверии, опросив выходцев из Северной и Южной Европы. В первом поколении разница была довольно большой, но со временем ситуация менялась, хотя и в пятом поколении она есть. Доверие к институтам, доверие друг к другу самое большое в Швеции — около 85%, а в Южной Европе и в России — 40%. В Австрии, где мы сейчас живем, я, встретив человека и даже имени еще не назвав, доверяю ему. Он такой же, как я, старается делать какой-то бизнес, тут дома не закрывают и заборов нет, нет и ненужных расходов.

Кто-то делал расчет: если сейчас шведский уровень доверия перенести в Россию, то производительность труда сразу выросла бы на 70%. Это колоссально прибыльный инструмент для бизнеса и инвестиций.

Когда меня спрашивают о том, что делать, я отвечаю, что есть пример — грузинские реформы. Проводили их Саакашвили, Бендукидзе и люди из западных стран. Проводили плохо, там есть недостатки, мой младший сын критикует их с позиций знания о западных стандартах. Но они смогли переделать коррумпированную Грузию. Понятно, что огромное количество силовиков выгонят, они не проголосуют за тебя и будет откат. Но уже будут помнить, как это работало. И сейчас, с новым поколением, откат остановится.



Владимир Рыжков,
политик, профессор
Национального
исследовательского
университета
«Высшая школа экономики»

Будущее свободы и оппозиции в России*

I. О свободе

Проблематика свободы в современной России маргинализована как властями, так и обществом. Ценности свободы в опросах занимают последние места в перечне приоритетов российских граждан (Левада-Центр. Февраль 2019 г., см. Примечания). В обществе преобладает запрос на материальное благополучие, социальную защиту, качественные государственные услуги, личную и общественную безопасность. Свобода воспринимается как нечто второстепенное, «факультативное», приятный довесок к чаемому материальному благосостоянию. Как то, что неплохо бы иметь, но без чего вполне можно и обойтись. Социальная политика и экономика — несравнимо важнее.

Между тем российскому обществу следует осознать, что без становления свободного общества *невозможно* достичь желаемых целей гражданского мира, благосостояния, занятости и экономического роста, качественных общественных и государственных услуг. Усвоение этой важной взаимосвязи обществом требует дополнительной аргументации и всеобщего внимания к этой аргументации. Без широкого принятия обществом идеи необходимости свободы и «свободы как развития» (А. Сен) общественно приемлемое решение национальных проблем не может быть достигнуто.

Что такое свобода и почему она необходима для прогресса России?

Австрийский экономист и философ Фридрих фон Хайек (1899–1992) определил свободу как такое «со-

* Выступление на семинаре Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы, Стокгольм, 27 апреля 2019 года.

стояние людей в обществе, когда принуждение со стороны одних по отношению к другим сведено к минимуму, насколько это возможно» (Хайек. С. 27). К свободе *от принуждения* он также добавляет свободу *от ограничений*. Свободный человек не зависит от произвола других людей, никто не может принудить его действовать вопреки его представлениям и пожеланиям. Свободное общество сохраняет свободу каждого своего члена, общественные отношения в нем регулируются исключительно общим для всех законом (правом), а не произвольными распоряжениями политиков или должностных лиц. Принуждение правового государства (правовое принуждение) неизбежно, но оно должно быть сведено к минимуму, не нарушающему свободу действий человека. Задача государства — ограждать права граждан от посягательств на них со стороны других людей и самого государства, быть нейтральным арбитром в спорах, наказывать только за нарушение прав других людей (В. Гумбольдт). Эти задачи решают конституционные правовые государства, в которых защита прав человека является самым смыслом существования государства, как необходимого и незаменимого института защиты свободы.

Принуждение Хайек определяет как контроль образа действий или поведения человека, когда во избежание худшего зла он вынужден действовать не по своей воле, становясь *средством*. Несвободный человек «не имеет возможности ни руководствоваться собственным разумом и знаниями, ни следовать собственным целям и убеждениям». Принуждение — зло именно потому, что игнорирует человека как личность и превращает его «в простой

инструмент для выполнения желаний другого» (Хайек. С. 40–41).

Фундаментальное преимущество свободного общества в сравнении с несвободным в решении задач успешного развития состоит в том, что в сложном и постоянно меняющемся обществе никто не располагает всем знанием о бесчисленных факторах, «от которых зависит достижение наших целей и наше благополучие» (Хайек. С. 50). Неведение об этих факторах в полной мере относится и к правящим группам. Прогресс экономики и общества в ситуации дефицита соответствующих знаний и понимания возможен только в условиях свободы всех. При свободе *для всех* каждый человек и каждая группа могут действовать самостоятельно и свободно, предлагая и осуществляя инновации, лучшие из которых, отобранные в ходе конкуренции, затем естественным образом распространяются на все общество. Ситуация принуждения людей делать не то, что им хочется, как и ограничений, когда свобода инноваций (в политике, социальной сфере, экономике, технологиях) ограничивается (государством или группами интересов), приводит к тому, что произвольные плохие решения закрепляются, а спонтанным хорошим не дается дорога. Так создается механизм торможения развития, происходит так называемый ухудшающий отбор в институциональной сфере, экономике, культуре.

Ситуация несвободы, принуждения и ограничений, когда правительство (в широком смысле) навязывает только свое представление о правильной политике, является ключевым барьером для прогресса. Правительства авторитарных государств стремятся прежде всего обеспечить неизменность своего гос-

подствующего положения (в нашем случае это именуется стабильностью). Их общественный идеал таков: «только бы подданный слушался законов, наслаждался со своей семьей благосостоянием и занимался безвредной деятельностью — и государству нет дальнейшего дела до рода его жизни». Однако результат такого подавления свободы — остановка прогресса и потеря обществом энергии, то есть всеобщий застой (Гумбольдт. С. 74–75).

Свобода экспериментов и инноваций, открытых для каждого, — ключевое условие прогресса. Так как никто заранее не знает, какие новые решения окажутся наилучшими и кто именно сумеет их предложить, свобода должна быть предоставлена всем. Только тогда инноваторы получают шанс доказать преимущества своих решений, а все прочие люди — воспользоваться их плодами. Любое ограничение свободы тормозит развитие. Чем больше ограничена свобода, тем хуже идет развитие. «У свободных людей все ремесла идут лучше, все искусства более процветают, все науки быстрее развиваются. ...У свободных людей появляется соревнование, и лучшие воспитатели вырабатываются там, где их судьба зависит от успеха их трудов, а не от покровительства, которое им приходится ожидать от государства» (Гумбольдт. С. 76).

«Именно потому, что свобода означает отказ от прямого контроля над действиями индивида, свободное общество использует намного больший объем знаний, чем способен охватить ум самого мудрого правителя» (Хайек. С. 52). Многовековая хроническая отсталость и бедность России может быть объяснена тем, что Россия нико-

гда не была свободным обществом и всегда зависела от произвольных решений неведающих правителей и властей, при систематическом подавлении свободных инноваций. Соответственно именно *расширение свободы* является фундаментальным условием прогресса страны.

О состоянии свободы в современной России

Индивидуальная свобода была открыта и осмыслена древними греками — первыми европейцами. Раб при освобождении, согласно вольной грамоте, получал пять основных прав: 1) правовой статус защищенного члена сообщества; 2) иммунитет от произвольного заключения под стражу; 3) право заниматься тем, чем желает; 4) право свободного перемещения. 5) Также у него было право владеть и свободно распоряжаться собственностью. Эти пять прав составляли основу человеческой свободы и надежно защищали человека от принуждения и ограничений со стороны других людей. Эти основополагающие права и сегодня являются основными условиями свободы, а именно: подчинение законам всех членов сообщества, защита от произвольного ареста, свободный выбор рода занятий, свободное распоряжение собственностью, свобода перемещения. При наличии этих прав «никакие другие люди или группы людей не в состоянии принудить подчиниться их приказаниям» (Хайек. С. 39–40). Можно сказать, что эти пять условий свободы являются их минимальным необходимым для свободы набором. По ним можно оценивать наличие или отсутствие условий свободы в обществе.

Как можно оценить состояние свободы в современной России? Чаще всего для этого прибегают к международным рейтингам.

По определяемому британской компанией *Economist Intelligence Unit* Индексу демократии в 2018 году у России был более низкий показатель, чем в Китае или Алжире: 144-е место из 167 стран (Индекс демократии, «Экономист», 2018). По этому показателю тип режима в России определен как авторитарный.

Индекс свободы в 208 странах от организации *Freedom House* за 2018 год: Россия — несвободная страна, по 100-бальной шкале менее свободная, чем Белоруссия (Свобода в мире — 2018. Фридом Хаус).

Индекс свободы прессы организации «Репортеры без границ»: Россия страна с несвободной прессой: 148-е место в мире из 180 стран, ниже Индии и Монголии (Индекс свободы прессы — 2018)

Индекс экономической свободы фонда «Наследие» и газеты «Уолл стрит джорнэл» (США) за 2019 год: Россия преимущественно экономически несвободная страна: 98-е место из 172 — ниже Молдовы, Азербайджана и Казахстана (Индекс экономической свободы — 2019).

Существует также комплексный *Индекс свободы человека*, составляемый группой международных научных центров во главе с Институтом Катона (США). Он оценивает 12 основных сфер человеческой свободы, включая личные свободы и экономические свободы. Россия в 2018 году занимала 120-е место из 162 стран. На вершине рейтинга — самые богатые и развитые страны (Новая Зеландия, Швейцария,

Австралия и др.). Прослеживается четкая корреляция между свободой и процветанием (Индекс свободы человека — 2018).

Есть еще множество разнообразных международных индексов, оценивающих состояние свободы в различных странах и сферах. Во всех этих рейтингах Россия занимает очень низкие места. Состояние свободы в России коррелируется с комплексным *Индексом человеческого развития ООН*, в котором Россия хотя и входит в группу стран с очень высоким уровнем человеческого развития, но находится в нижней части соответствующей группы стран (49-е место из 58 стран первой группы). Примерно на одном уровне с такими государствами, как Аргентина, Болгария, Румыния и Черногория. Лидеры оонового рейтинга — все те же свободные страны: Норвегия, Швейцария, Австралия, Ирландия (Индекс человеческого развития ООН — 2018).

Все последние годы положение со свободой в России ухудшается. Не прибегая больше к данным международных рейтингов, можно выделить основные области деградации свободы, в которых россияне сталкиваются с принуждением и ограничениями свободы.

1) *Политическое принуждение и политические ограничения:*

— массовая фальсификация итогов выборов и как результат — принуждение подчиняться властям и законам, не получившим на то легитимный мандат от народа;

— ограничение политического представительства в результате искажения подлинных результатов выборов;

— недопуск кандидатов и партий на выборы, отказ в регистрации партий;



Рой Лихтенштейн. Танец в студии художника. 1974

— политические репрессии и как результат — появление политических заключенных и политических эмигрантов;

— принуждение к голосованию в интересах правящих групп;

— ограничение в возможности выбора властей (на муниципальном и региональном уровнях);

— ограничения пассивного избирательного права и права доступа к госслужбе.

2) *Принуждение и ограничения в области гражданских свобод:*

— ограничение в доступе к независимому и состязательному правосудию;

— ограничения в свободе передвижения, в том числе в свободе выезда из страны;

— ограничения в религиозных свобо-

дах, принуждение к преимущественной поддержке одной конфессии (РПЦ);

— ограничения свободы ассоциаций и гражданского общества (включая профсоюзы), свободы собраний и митингов;

— ограничения свободы личной идентичности и личной жизни, своего рода принуждение «к нравственности»;

— ограничения тайны частной жизни и переписки, неприкосновенности жилища, сбор информации и слежка за гражданами;

— принуждение к восприятию госпропаганды, ограничения свободы слова и свободы выражения мнений;

— произвольные аресты и даже пытки;

— ограничения в участии в осуществлении правосудия (суды присяжных).

3) *Культурное и идеологическое принуждение и ограничения:*

— навязывание государственной идеологии (традиционализм, так называемые скрепы), в том числе в области истории;

— ограничения в сфере науки, искусства и образования (культурная цензура и культурная политика).

4) *Экономические принуждение и ограничения:*

— господство госсектора экономики (доходящего в пределе до 70% ВВП) приводит к принуждению граждан подчиняться государству — основному работодателю, ограничивает возможности поиска другой работы;

— госсектор экономики имеет форму конгломерата монополий, что принуждает потребителей покупать товары и услуги по завышенным ценам и худшего качества, а также ограничивает свободу предпринимательства и конкуренцию;

— ограничения в работе профсоюзов ограничивают возможности работников защищать свои права, в том числе в сфере доходов;

— отсутствие прозрачности сектора государственных закупок приводит к завышению цен, коррупции, масштабному расхищению общественных фондов частными лицами и группами интересов;

— чрезмерное государственное регулирование приводит к ограничению экономической активности и инноваций. Согласно Глобальному рейтингу конкурентоспособности ВЭФ Россия находится на 43-м общем месте в мире, однако по качеству государственных ин-

ститутгов — только на 72-м. Хуже всего дела обстоят с независимостью судебной системы (92-е место в мире), бременем государственного регулирования (73-е), коррупцией (113-е), правами собственности (112-е), регулированием конфликта интересов (95-е). (Индекс глобальной конкурентоспособности ВЭФ — 2018);

— политика государственного интервенционизма изымает ресурсы у домохозяйств и частного сектора экономики и направляет их в затратные и экономически неэффективные проекты (пример — Олимпиада 2014 года в Сочи, нацпроекты), ограничивая тем самым развитие;

— политика протекционизма принуждает потребителей покупать товары и услуги по более высоким ценам и худшего качества и ограничивает свободу конкуренции и инновации;

— налоги вводятся и повышаются властями, не имеющими легитимного мандата от народа, что принуждает людей платить их при ограничении возможности участия в определении налоговой политики.

Таковы только основные виды принуждения и ограничений в современной России, их конкретный перечень можно расширять до бесконечности.

Общее заключение о состоянии свободы в России. Расширение свободы как стратегия развития

Ф. Хайек различает общества, в которых обеспечена *полная* свобода, и общества, в которых свобода ограничена. В этих последних люди могут верить, что живут в условиях свободы, не осознавая, что это далеко не так (Хайек. С. 54). Именно такое положение дел сложилось

в постсоветской России. Большинство современных россиян не практикуют свободу, но при этом уверены, что живут в свободной стране, — 49% считают Россию демократией и только 39% — нет (Демократия в России. Левада-Центр. 2015). Это объясняется зримым сравнением с советским периодом, тем, что свободы стало неизмеримо больше. Но больше свободы в сравнении с СССР не означает, что Россия стала свободным обществом. Напротив — как мы показали, ограничения свободы и различные виды неправового принуждения носят широкий и всеобъемлющий характер — от политики до экономики и частной жизни. Они не сводятся только к политической несвободе (как обычно думают) — *принуждение и ограничения охватывают все стороны жизни россиян. Российская несвобода носит всеобщий, комплексный характер.*

Ограниченная свобода наносит большой ущерб развитию России и благосостоянию россиян. Все виды принуждения и ограничений взаимосвязаны и наносят обществу комплексный ущерб. Так, политическое принуждение и ограничения помогают сохранять авторитарный режим «недостойного правления» соискателей ренты (В. Гельман, 2016) и развязывают руки правящим группам «пагубных интересов», то есть группам интересов, работающим на свои корыстные цели, а не на общественное благо. Монополизм, протекционизм и интервенционизм снижают уровень и качество жизни, отбирают средства от социальных программ, убивают конкуренцию и инновации. Ограничения демократии: 1) лишают людей их базовых возможностей для развития, включая участие в общественной

политической жизни; 2) делают государство глухим к нуждам людей, усиливают все виды неравенства, формируют узкие привилегированные слои и широкие массы бедного и нищего населения; 3) блокируют общественную дискуссию по поводу подлинных национальных интересов и целей развития, отдавая судьбу страны на откуп узким и некомпетентным правящим группам (об основных функциях демократии см.: А. Сен. С. 170–171). Также ограничения демократии тормозят развитие гражданского участия и тем самым формируют ответственную гражданскую культуру и политической нации, подрывая единство страны. Ограничения гражданских свобод ухудшают деловой климат, личную безопасность граждан и общую атмосферу в стране, делая жизнь в ней малопривлекательной, что также бьет по развитию.

Ограничение свободы в России — основная причина слабого развития и многочисленных системных проблем в экономике и социальной сфере. А. Сен показал, что свобода является как главной целью, так и главным средством развития. Снятие ограничений и принуждения «является основополагающим фактором развития» (А. Сен. С. 16). «Развитие требует устранения главных источников несвободы: нищеты и тирании, скудости экономических возможностей и постоянных социальных лишений, убожества структур, обслуживающих население, а также нетерпимости либо чрезмерной активности репрессивных учреждений» (А. Сен. С. 21). Несложно заметить наличие всех этих ключевых препятствий в современной России. Несложно прийти к выводу о необхо-

димости их скорейшего устранения для целей развития страны.

Свобода во всех ее проявлениях объективно (не субъективно) не является второстепенной ценностью для российского общества. Наоборот — именно расширение свободы должно выйти на первое место среди всех национальных задач, если россияне хотят достичь экономического роста и процветания, высокой занятости, высокого качества жизни и испытывать радость от жизни в свободной и богатой стране. *Развитие свободы и развитие как свобода — таков вкратце рецепт успешного развития России.*

Об оппозиции

Место оппозиции в расширении свободы и развитии

Из сказанного выше становятся ясны роль и место оппозиции в расширении свободы и в развитии.

Цель любого человека — свободное внутреннее развитие, свобода достижения своих целей. «Свобода представляет, в сущности, только возможность неопределенно разнообразной деятельности» (Гумбольдт. С. 3). Эта свобода включает как экономическую и культурную свободу, так и свободу гражданскую и политическую — право участия в определении общественного блага и участия в его осуществлении. Включая право на оппозиционное мышление, оппозиционные высказывания и оппозиционную деятельность. Это одна из *базовых человеческих свобод*, ограничение которой означает и ограничение человеческого достоинства, ущемление свободной природы человека.

Во-вторых, свобода оппозиции (властям) играет важную *инструментальную* роль, делая возможным донесение до принимающих решения политиков голоса общественности и ее требований. Оппозиция — один из лучших и прямых способов возвышения голоса групп общественных интересов. Она делает общество гласным, уничтожает немоту политики.

В-третьих, оппозиция играет важную *конструктивную* роль в концептуализации любых общественных потребностей, включая экономическое развитие, социальную политику, как и другие аспекты общественного блага (А. Сен. С. 171).

Любое ограничение оппозиции означает, таким образом, подавление базовой свободы человека, лишение общества возможности рассказать правящим политикам о своих бедах и проблемах, разрушение общественных дебатов о целях и средствах политики. Уважение свободы человека, стремление к своевременному решению острых общественных проблем, выработка наилучших способов их разрешения требуют, таким образом, полной свободы оппозиции во всех ее формах. Свобода оппозиции — необходимая часть свободы как развития. Чем более свободна оппозиция, тем больше пользы она приносит и тем лучше развивается общество.

Что необходимо для свободы оппозиции?

Свобода оппозиции означает свободу любого человека и группы людей, несогласных с политикой властей, участвовать в общественных делах, включая управление государством, возмож-

ность выдвинуть власти свои требования и принимать участие в свободном обсуждении общественных вопросов. Для существования оппозиции необходимы два основных условия.

— Постоянный и напряженный интерес людей к политике, внутренняя сложность народа, разнообразие мнений и общественных интересов. Томас Джефферсон писал: «Если однажды наш народ потеряет интерес к публичным делам, вы и я, и конгресс, и ассамблеи, судьи и губернаторы, все мы обратимся в волков» (цит. по: Х. Арндт. С. 331). Требуется, чтобы отдельные граждане и их объединения все время стремились к участию в публичных делах, осознавали свои публичные интересы и были готовы тратить на их защиту свое время и энергию, то есть действовать в публичной сфере.

— Наличие широкой публичной сферы на местном, районном, региональном и национальном уровнях, как места выдвижения проблем и требований, общественных дебатов о целях и средствах политики, открытого столкновения мнений и аргументов, публичной дискуссии об общественных проблемах, об общественных и национальных интересах, о содержании общественного блага. Чем шире и многообразней публичная сфера, тем лучше для свободы и развития.

Институционально это требует существования обширного «социального океана» — ассоциаций, собраний, инициатив, советов, органов местного самоуправления, парламентов всех уровней, многопартийности, референдумов, свободных выборов, свободы СМИ и пр. Действующих при этом совершенно свободно, без ограничений со стороны государства.

Только при наличии этих двух условий оппозиция не только имеет возможность возникнуть, но и стать влиятельной силой, полезной для развития, в конце концов — сменить собой действующую власть и реализовать альтернативы развития.

Отсюда становится очевидной неадекватность расхожей критики российской оппозиции наших дней, как ничего не делающей, недоговороспособной и чересчур амбициозной, состоящей из равно бесполезных соглашателей и революционеров (так называемая системная оппозиция, заседающая в Думе, и так называемая несистемная, выходящая на площадь под полицейские дубинки), как политических импотентов, ни на что не способных (упрек чаще применяется к несистемной оппозиции), не имеющей якобы никакой позитивной программы и в конечном счете виновной в победе авторитаризма в России («не сумела остановить, помешать, предотвратить»). Ее обвиняют в том, что она не способна прийти к власти и изменить страну к лучшему. Все перечисленное — лишь симптомы болезни, но не сама болезнь. Болезнь заключена в другом. В несформированности в России условий для свободы оппозиции — в общей политической апатии народа и его неструктурированности, а также в отсутствии развитой публичной сферы.

Если даже Конституция учреждает легитимную и полноценную публичную сферу, но при этом отсутствует дифференцированный и политически активный народ (политическая нация), то существующие институты публичной сферы приобретают искусственный и имитационный характер (партии, пар-

ламенты, органы местного самоуправления, общественные организации и пр.).

Если в обществе заметна дифференциация и выраженные мнения и интересы, но при этом публичная сфера ограничена государством и ее деятельность сопровождается полицейскими запретами и репрессиями, то оппозиция вынужденно приобретает характер разрозненный, радикальный, революционный, даже подпольный (как в России XIX века или в наши дни на примере движений Навального и Ходорковского).

Для существования свободы и силы оппозиции как важного фактора развития необходимо дифференцированное и структурированное общество, деятельно и непрерывно реализующее свои многообразные интересы и представления в публичной сфере, институционализированной в общественных институтах (государства и гражданского общества).

Оппозиционные настроения и оппозиционные структуры

Оппозиция может существовать как а) отдельные оппозиционно настроенные индивиды, б) как широко распространенные в обществе оппозиционные настроения и в) как организованные оппозиционные политические структуры.

Первые и вторые есть в любом обществе, даже тоталитарном. Для существования третьих необходима легитимная публичная сфера.

В позднем СССР существовали оппозиционные настроения и множество оппозиционно настроенных индивидуумов, но оппозиционные организации находились под запретом.

В России 2000–2010-х годов существовали разнообразные оппозиционные

Политические решения принимаются одной только исполнительной властью, выстроенной в виде административной вертикали во главе с узкой правящей группой, в закрытом режиме и произвольным образом, без участия публичной сферы

организации, но не было широких оппозиционных настроений.

В России наших дней есть широкие оппозиционные настроения, оппозиционные организации (часть из них при этом фактически запрещена), но при этом они не получают (по крайней мере пока) политической поддержки от оппозиционно настроенной части общества.

Это объясняется, во-первых, значительным разрушением государством публичной сферы в нулевые годы, которая теперь чрезвычайно сужена, регламентирована, опутана запретами и репрессиями, отчасти фактически захвачена властями (СМИ, парламент, партийная система, профсоюзы и пр.). Основные общественные институты носят имитационный, «спящий» характер (включая федерализм — см.: А. Захаров, 2012). Политические решения принимаются одной только исполнительной властью, выстроенной в виде административной вертикали во главе с узкой правящей группой, в

закрытом режиме и произвольным образом, без участия публичной сферы. Пример — «национальные проекты» В. Путина, принятые без всякого участия нации, которую они призваны облагодетельствовать. Национальная дискуссия о целях и средствах развития пресечена (еще один характерный пример — внезапное решение о повышении пенсионного возраста, принятое в 2018 году). Ограничения полуразрушенной публичной сферы крайне затрудняют на инструментальном уровне конвертацию широких оппозиционных настроений в политическую поддержку организаций оппозиции (дело усугубляют также массовые фальсификации итогов выборов, распространённый недопуск оппозиции к участию в них, как и разительное неравенство ресурсов).

Во-вторых, крайне низкая политизация российского общества и чрезвычайно низкая готовность граждан к политическому и общественному участию. Это приводит к тому, что оппозиционные настроения не конвертируются в действия, оставаясь формой пассивного недовольного народного «ворчания» (хотя ряд недавних громких побед оппозиции на региональных и местных выборах являются примечательными исключениями). Помимо общей пассивности, российское общество остается в целом неструктурированным и плохо готовым к самоорганизации и объединению. В нем крайне сложно выделить классы, группы общественных интересов, стремящиеся к их активной репрезентации в публичной сфере. Фактически рабочие, служащие, предприниматели, представители свободных профессий, крестьяне, интеллигенция, «бюджетники», не представляют коллективных субъектов публичной сфе-

ры. А узкие закрытые группы «пагубных интересов» ведут закрытый торг с исполнительной властью о достижении привилегий (в том числе коррупционных) вне публичной сферы.

Широкие оппозиционные настроения в условиях аполитичности и атомизации общества, а также широкого ограничения публичной сферы со стороны исполнительной и монопольной власти оставляют оппозиционные организации в «безвоздушном пространстве», лишая ее поддержки и роли в развитии. Другие факторы (репрессии, дискредитация, фальсификации, лишение ресурсов, разжигание конфликтов между лидерами и пр.) носят важный, но второстепенный характер.

Постсоветское общество и сложности дифференциации

После 1989 года, после краха СССР и всего советского блока в общественных науках господствовала *теория транзита*. Предполагалось, что все бывшие тоталитарные коммунистические страны пройдут путь к а) свободной рыночной экономике на основе частной собственности; б) правовому конституционному государству; в) политической демократии, в основании которой будет находиться сильное гражданское общество. Это станет триумфом либеральной модели общественного устройства, торжеством свободы и благополучия, своеобразным «концом истории», по выражению Ф. Фукуямы. Считалось, что посттоталитарное общество естественным образом «оттаёт», усложнится, дифференцируется, в нем сформируются общественные слои и группы интересов, которые в ходе демократического процесса будут совместно опреде-

лять цели и средства развития. Одни группы будут у власти, другие в оппозиции, они будут сменять друг друга, не покушаясь на базовые права человека. Однако это произошло далеко не везде и далеко не в полной мере.

Даже в странах Центральной и Восточной Европы — членах ЕС и НАТО, где в целом транзит прошел успешно, сильны рецидивы тоталитарного прошлого. На постсоветском пространстве пока нет ни одного примера успешного транзита (за исключением трех прибалтийских республик). Самыми сложными оказались изменения в обществах (сравнительно с экономикой и правовыми системами). Можно выделить две причины столь сложного процесса дифференциации общества и становления его как гражданского.

Из трех базовых общественных систем (экономика, правовая система, социум) общество в принципе является самой сложной и инерционной. Ральф Дарендорф писал в своей пророческой книге 1990 года «Размышления о революции в Европе», что формально процесс конституционной реформы занимает шесть месяцев, на создание основ рыночной экономики (рыночные реформы) уходит шесть лет, но процесс формирования гражданского (то есть активного, солидарного, дифференцированного) общества может занять *шестьдесят лет* (Дарендорф. С. 236). Сейчас на дворе 2019 год, прошло 30 лет после падения коммунизма в Европе. Значит, если верить Дарендорфу, мы находимся на полпути от атомизированного, гомогенного и пассивного тоталитарного общества, разрушенного террором государства, к обществу гражданскому.

Общественные науки сильно недооце-

нили сложность перемен в посттоталитарных обществах. Нужны особые усилия по их изучению.

При этом изменения происходят, но очень медленно. Совершается так называемая низовая модернизация — образа жизни и мыслей. Общества раскрепощаются. Нарбатывается опыт солидарности, ассоциаций, решения общественных проблем сообща, волонтерства. Но пока это не делает общество сильным субъектом политики, в том числе не способствует формированию сильной оппозиционной организации.

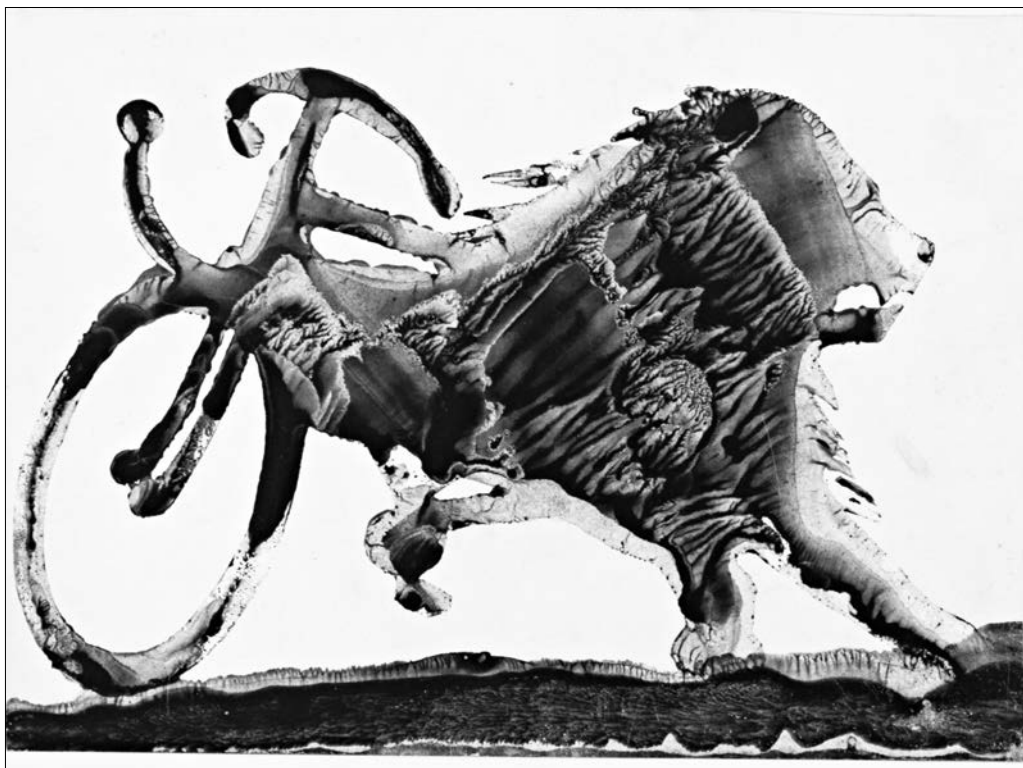
Вторая причина сложности и медлительности общественных изменений — внутренняя политика авторитарных постсоветских политических режимов, которые всячески препятствуют становлению гражданского общества, как своего соперника. Режимы создают систему позитивных и негативных стимулов для граждан, в том числе оппозиционно настроенных:

а) *негативные стимулы* — политическая активность подавляется запретами, принуждением и репрессиями. Издержки оппозиционной позиции и деятельности становятся слишком высокими для граждан и их семей.

б) *позитивные стимулы* — пассивность, конформизм, соглашательство всячески поощряются и вознаграждаются. Приспособленчество становится нормой жизни, нормальным рациональным поведением. Несистемная оппозиция жестко преследуется, системная вознаграждается, но под неусыпным контролем властей.

Пока в России сохраняются все основы тоталитарного устройства общества:

— *иерархическая картина мира* (все общество представляет собой иерархию людей с неравным правовым ста-



Оскар Домингес. Лев-велосипед. 1906

тусом, делится на «начальство» и «простых людей», первые решают все, вторые — ничего);

— *общее недоверие ко всем и всему* (к государству и другим людям). Доверие есть только внутри семьи, среди друзей и часто в трудовом коллективе, то есть на частном уровне. Но его нет на уровне общественной жизни и публичной сферы. Поэтому, например, есть горожане, но нет городских сообществ;

— *страх перед общественной активностью*, как тем, что может быть наказуемо государством. Отсюда массовая установка «я политикой не интересуюсь» и «от меня (нас) ничего не зависит»;

— *страх перед государством* как силой, отвергающей диалог, враждебной

человеку, которую можно только о чем-то «просить» и к политике которой (внешней и произвольной) можно только хуже или лучше приспособляться; — *отсутствие понимания права* как неотъемлемого атрибута каждого человека и одновременно основы общественных отношений. Закон воспринимается как пустая формальность, все на деле решается силой, деньгами и договоренностями, в зависимости от связей и ресурсов каждого человека.

В обществе с такими характеристиками создание массовой и сильной оппозиции (оппозиций) маловероятно.

Постсоветский социум отличается от советского и наследует ему. При этом он оказался много прочнее и долговечнее, чем думалось поначалу (Клямкин, 2018 год).

Недифференцированное общество и политическая оппозиция

Формируется конформистская модель жизни в посттоталитарном обществе (жизни «нормальной» — «как все»). Коротко ее можно выразить поведенческими стереотипами: доверяй только своим, скрывай свои планы и интересы, не получается — обмани, не получается — подкупи» (Клямкин. С. 596). Это жизнь полусвободного, неинициативного полугражданина, полуподданного. Избавление от ответственности за общественные дела («Я человек маленький, это меня не касается, начальству виднее»). Отсутствие размышлений и идей относительно общественного блага — интерес только к своим частным делам. Скепсис по отношению к праву — ведь реально вопросы решаются не по закону, а «по понятиям».

Такая жизненная норма формирует и отношение к оппозиции. Участие в оппозиции глупо и вредно, ведь «против лома (власти) нет приема». Умнее не сопротивляться, а приспособливаться. Отношение к существующей организованной оппозиции неотличимо от отношения к властям:

— они (оппозиция) ничего для меня не делают;

— они не имеют никакой программы;

— они негодные люди.

Самое важное — отношение к власти и к оппозиции как *внешней силе*. Наличие публичной сферы, общественных интересов и долга участия в них не осознается и не признается. В результате при наличии широких оппозиционных настроений участие в общественной деятельности и тем более в оппозиции остается уделом не-

многих — маргиналов. Программы у оппозиции есть, но их никто не читает. Доверия нет ни к власти, ни к ее критикам.

На выборах конформистская модель жизни ведет к массовому неучастию (ведь «от нас ничего не зависит и политикой мы не интересуемся»). Те, кто все же приходит на участки, голосуют за конформистскую («системную») часть оппозиции. Она разрешена властями и голосование за нее безопасно и даже поощряется начальством.

Ситуация в стране скверная, но изменить ее сами люди не могут. Это дело «их» — внешних сил — то есть власти или оппозиции. Если оппозиция не может прийти к власти — это исключительно ее вина, мы тут ни при чем.

Общие выводы об оппозиции

Оппозиция — важная и необходимая часть свободы как развития. Но она не может развиваться и играть свою роль в условиях пассивного и недифференцированного общества и полуразрушенной публичной сферы. Политика в России носит закрытый, элитарный, спонтанный характер, без участия публичной сферы. Институты публичной сферы носят имитационный характер, не имея опоры в гражданском обществе. Лояльная оппозиция имитирует существование публичной сферы, не лояльная маргинальна, не находит общественной поддержки и преследуется властями.

Оппозиционные настроения носят уже массовый характер, но в отсутствие а) доверия и солидарности; б) интереса к общественным делам и чувства общей судьбы (нации); в) навыков совместных действий эти настроения ничего не до-

бавляют несистемной оппозиции. А успехи лояльной оппозиции на выборах ничего не меняют в системе власти и в политике, так как являются имитацией оппозиционных побед.

Изменение общества возможно только в условиях свободы. Народ должен политизироваться и активизироваться в борьбе за свои социальные, экономические и политические права. Должны распространиться более широкое доверие, солидарность, навыки совместного решения общественных вопросов (НКО, волонтерство).

Общество должно расслоиться, усложниться, разбиться на классы, слои, группы, региональные и местные сообщества. Осознать свои интересы, вступить в дебаты в публичной сфере о целях и средствах политики. Группы и слои должны сомкнуться с организациями оппозиции, сделав ее массовой и результативной. Существующая сегодня оппозиция должна всячески содействовать расширению публичной сферы и пропагандировать ценности свободы как главного условия развития страны.

ПРИМЕЧАНИЯ

Самые острые проблемы. Пресс-выпуск. Левада-Центр, 27 февраля 2019 года. Ограничение гражданских прав и демократических свобод волнует только 6% населения. В то время как рост цен и обнищание населения — от 44 до 62%. <https://www.levada.ru/2019/02/27/samye-ostrye-problemy-3/>

Хайек Ф. А. фон. Конституция свободы. М.: Новое издательство, 2018. — 528 с.

Гумбольдт В. фон. О пределах государственной деятельности. — Челябинск: Социум, 2009. — 287 с.

Индекс демократии — 2018, журнал «Экономист». <https://www.eiu.com/topic/democracy-index>

Свобода в мире — 2018. Фридом Хаус. <https://infogram.com/124776da-1c66-4ffc-8063-769dd7b42b1d>

Сен А. Развитие как свобода. М.: Новое издательство, 2004. — 432 с.

Индекс свободы прессы организации «Репортеры без границ», 2018 г. <https://rsf.org/fr/classement>

Индекс экономической свободы фонда «Наследие» и газеты «Уолл стрит джорнэл» за 2019 год <https://www.heritage.org/index/ranking>

Индекс свободы человека Института Катона и др. за 2018 г.

<https://nonews.co/directory/lists/countries/human-freedom-index>

Индекс человеческого развития ООН 2018 г. http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_ru.pdf

Индекс глобальной конкурентоспособности ВЭФ за 2018 г.

<http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf>

Демократия в России: установки населения. Д. Волков, С. Гончаров. Левада-Центр, 2015 г. http://www.levada.ru/old/sites/default/files/report_fin.pdf

Гельман В. Порочный круг «недостойного правления». Ведомости, 17 мая 2016 г.

Арендт Ханна. О революции. — М.: Изд-во «Европа», 2011. — 464 с.

Захаров А. «Спящий институт». Федерализм в современной России и в мире. — М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 144 с.

Дарендорф Ральф. После 1989. Мораль, революция и гражданское общество. Размышления о революции в Европе. — М.: Ад маргинем, 1998. — 271 с.

Клямкин Игорь. Какая дорога ведет к праву? — М.: Либеральная миссия, 2018. — 1064 с.

О наиболее острых вопросах современной российской повестки дня — о рейтингах органов власти, о протестах и политических идеалах российского общества. Беседа **Константина Фрумкина** с руководителем отдела социокультурных исследований Аналитического центра Юрия Левады **Алексеем Левинсоном**.

Гражданское общество появляется и исчезает*

По ту сторону рейтингов



Константин Фрумкин: Алексей Георгиевич, широкая публика вспоминает про социологов в основном в связи с рейтингом главы государства, но ведь политическая социология не исчерпывается этим?



Алексей Левинсон: Я не уверен, что когда мы говорим о рейтинге президента, то сталкиваемся с политической социологией. Эти рейтинги говорят не столько о президенте, сколько об обществе: они отражают его потребность в символической консолидации. Есть рейтинги и других властных институций, но если они нам и говорят что-то, то скорее об отсутствии политического в России. Россияне просто демонстрируют свое отрицательное отношение к номинально ведущим институциям власти, таким как парламент, кабинет министров, премьер-министр. Результаты обычно мало варьируются, и это показывает, что эти сущности воспринимаются как символические единицы, а не как участники некоего политического нарратива. Поэтому опять-таки наблюдение за ними, по сути дела, не является политической социологией. Вообще наш директор Лев Гудков не раз высказывал мысль об отсутствии в России политики как дела, которое касается общества. Я присоединяюсь к этому мнению, потому что у нас есть интересные и регулярно получаемые данные об отсутствии отношения к политикам. Если это не первое лицо страны или первое лицо области (республики), то по отношению к остальным фигурам высказывается стабильное пренебрежение, презрение, негативное отношение, что свидетельствует об общественном настроении, но не о политическом состоянии.

К.Ф. И в чем заключается это настроение?

А.Л. В том, чтобы дистанцироваться от политики как от грязного дела, от политиков как нечестных и коррумпированных. Здесь надо сказать, что эти обвинения в коррупции и в том, что политики преследуют

* Деловой интернет-журнал «Инвест-Форсайт», 27 августа 2019.

собственные интересы, а не интересы народа, — облыжные. Они возникают не потому, что люди конкретно знают про конкретного чиновника нечто: нет, он обвиняется заранее. Наряду со всем этим есть, конечно, тема протестов — это политическая тема, которая в каждом месте своя, и социологии надо было бы этим заниматься. Наш Центр и я сам в какой-то степени этим занимаемся. Насколько я знаю, социологи других учреждений мало занимаются анализом протеста. Политологи занимаются этой темой гораздо больше.

К.Ф. Политологи, наверное, слепы, не зная социологических данных.

А.Л. Они пользуются этими данными, кто более умело, кто менее. Скажем, политолог Кирилл Рогов очень глубоко вникает в данные Левада-Центра. Есть другие, но мне не хочется называть имена, которые используют данные поверхностно, а некоторые просто недобросовестно или без понятия. Среди задач социологии, которые встают в связи с политикой, я бы в качестве самой первой назвал задачу объяснить, почему в стране политики нет. Это само по себе достаточно интересное обстоятельство.

Лев Гудков говорит, что стерилизована эта общественная функция — функция общественного контроля. Действительно, власть много сделала для того, чтобы эта функция отсутствовала, с другой стороны, и это для социологов более интересно, в самом обществе такая функция не продуцируется активно. Есть такое понятие — делегативная демократия. Демократия у нас или нет — это вопрос дискуссионный, но то, что делегативным является наше отношение к власти, скорее всего, так и есть. Власть избирается или возникает каким-то иным способом, сама себя предлагает обществу, но далее ей перепоручается все. И даже нет такого акта перепоручения, а есть такое представление, понимание, что они — там, стало быть, они должны и обязаны. Что касается нас тут, то мы, получается, ничего не должны и не обязаны — это одна версия поведения. Или мы должны быть по отношению к ним лояльны, покорны, послушны и т.д. Это две русские традиции отношения к власти. Но нет третьей, а именно: что власть должна отчитываться перед нами, а мы вольны с нее спросить. И нет соответственно тех институтов, которые бы это делали.

«Мерцающее» гражданское общество

К.Ф. Как вы относитесь к термину «спящие институты»?

А.Л. Хорошо, если можно точно сказать: вот он есть, но только он спит. Предполагать, что он есть, просто спит — это выражать надежду. А нужны же какие-то доказательства, что он есть. Мне кажется, пока практика показывает, что все совсем не так. Российские общественные структуры довольно чутко реагируют на наличие или отсутствие власти. Когда власть отсутствует, российское общество демонстрирует два

вида реакции. Один — формируются институты криминального или мафиеподобного рода, они девиантны по отношению к тем законам, которые были бы, буде власть сохранялась. Они эти законы нарушают, хотя могут выполнять какие-то позитивные функции — защиту своих или еще что-то. Мы знаем, как это было в 90-е годы. Другой случай — в отсутствие власти происходит общественная самоорганизация с высокопозитивными целями, где нарочитым образом исполняются те правила, которые при обычном режиме и должны исполняться. Это действия волонтеров в случае бедствия, когда организуется помощь, устранение факторов бедствия и т.д. Власть заменена этими вроде бы спонтанно возникшими организациями. Кто хочет, может называть это формой проявления гражданского общества. Я только хотел бы сказать, что российское гражданское общество в этом смысле существует отличным от классического способом, и режим его существования особый. Оно возникает, что-то делает и исчезает.

К.Ф. «Мерцающие» институты?

А.Л. Из уст Александра Аузана (декан экономического факультета МГУ. — *Ред.*) я услышал такой пример. Ополчение, которое собрал Козьма Минин и которое выгнало поляков из Москвы, было вариантом гражданского общества. Но когда оно выполнило свою задачу освобождения Отечества, то сложило свои полномочия к подножию трона добровольно. Оно самораспустилось. Различные формы гражданского общества, если это не «Гринпис» — организация, созданная не в России, а имеющая в России только свои филиалы, во многих случаях возникают, действуют, порой очень эффективно, а затем... Иногда на них оказывается сильное давление, как, например, на «Окупай Абай» или еще какие-то связанные с протестом структуры: они исчезают под давлением. Или они просто, выполнив свою задачу, перестают существовать, самораспускаются. Те же дружины, которые гасили пожары или помогали в наводнениях. Иногда они превращаются в устойчивые формы, как «Лиза Алерт», например. Но их все-таки у нас очень немного. Это такие исключительные случаи, и люди туда идут тоже исключительные.

Социология протестов

К.Ф. Можно ли сказать, что протесты 2011–2012 года были изучены с социологической точки зрения? Понятен ли социологический профиль протестующих? Определен ли он?

А.Л. Социологический профиль протестующих в элементарном смысле, социодемографическом, был изучен в том числе и нашей организацией. Мы проводили опросы на митингах. Соотношение возрастов, образования, пола и т.д. было установлено. Тогда получили широкое хо-



Виfredo Лам. Без названия. 1946

дение идеи, что это был креативный класс, или только богатые, или только молодые — все утверждения, которые начинаются со слова «только», неверны. Мы тогда установили: на больших митингах присутствовал весь социальный спектр — все московское общество. Другое дело, что там была большая доля людей с высшим образованием, чем в целом по Москве. Были и пожилые — их доля была меньше, чем в населении города, но она тоже была. В этом смысле там был представлен весь социальный ряд. Это не было репрезентативной выборкой от московского населения. Но кто же сказал, что это так должно быть? И когда какие события такого рода делались сразу всеми? Но это не были маргиналы, не были какие-то группы, которые себя противопоставляли остальным. Это очень важно, потому что пропаганда, которая пыталась их дискредитировать, старалась представить дело так,

что это не мы — не настоящие москвичи, не настоящие россияне, а какие-то другие.

К.Ф. А что можно сказать про митинги 2019 года?

А.Л. Тут я никакими данными не располагаю. Но визуально то, что мне доводилось наблюдать, опять же показывает, что это не маргинальные в целом группы. Хотя там были представители очень малочисленных групп активистов, например анархисты. Никто не скажет, что анархисты — это вся московская молодежь. Нет, это ее очень небольшой фрагмент. И вот он там представлен. Но в целом, если говорить о молодых людях, то это реакция нормальных молодых людей — нормальных москвичей, не каких-то особенных. Я на этом настаиваю. Есть опять-таки попытка представить это чем-то отклоняющимся от нормы. То ли тем, что их подкупили, то ли тем, что они несмышленные, то ли тем, что они слишком эгоистичны, защищают свои интересы, а не чьи-то еще. Нет, это все неправильно. Протест в этом смысле вполне социальный.

К.Ф. Вы подтверждаете, что мы видим омолаживание протеста?

А.Л. Опять-таки зависит от обстоятельств. На несанкционированных митингах были по преимуществу молодые люди. Я думаю, с определенным перевесом в пользу мужского пола. И еще небольшая доля весьма пожилых. А на митинге 10 августа, который был санкционированным, там, и это естественно, была существенно большая доля людей среднего возраста. Тех, которые менее склонны к риску. А тут риск снизился, и они пришли.

К.Ф. В таком случае как бы вы прокомментировали тезис об аполитичности молодежи?

А.Л. Этот тезис устарел.

Россия идет вслед за Москвой

К.Ф. Как бы вы прокомментировали факт, что массовые протесты у нас происходят только в Москве?

А.Л. Во-первых, в данном случае есть простое объяснение: речь шла о выборах в Московскую думу. В этом смысле это дело москвичей. Тут как раз интересно было бы отметить, что все-таки не только Москва откликнулась — было какое-то эхо, какая-то символическая поддержка других городов. Или, о чем с особым вниманием заявляла полиция: были иногородние. Моя трактовка этого обстоятельства совершенно не та, что у полицейских, которые хотят сказать, что это вообще не настоящие москвичи протестуют. Но московские протестанты поставили не локальные вопросы, а вопросы общероссийской значимости: взаимоотношения с властью; общество и власть. Это вопрос нелокальный. Поэтому присутствие людей из других мест как раз закономерно. Опять-таки социолог тут, мне кажется, должен

сказать: реагирует общество, а не какие-то отдельные группы. Это очень существенно.

К.Ф. Но в чем отличие Москвы?

А.Л. Москва отличается, я думаю, с точки зрения протестного потенциала двумя важными обстоятельствами. Во-первых, все-таки в московской толпе люди анонимны. В городах средних, не говоря о малых, остаться анонимными практически невозможно, и по разным причинам участие в протестной акции обязательно станет известно и окружению, и каким-то властям. Поэтому тяжесть последствий одной и той же акции — просто вышел на улицу — в Москве и небольшом городе существенно разные. Конечно, города-миллионники тоже похожи в этом смысле на столицу, но вот почему там меньше протестный потенциал? Я отвечу так. Наша социальная динамика устроена так, что столица во всех отношениях, хороших и плохих, идет впереди страны. Точнее, страна идет за столицей. Что-то начинается в Москве, через какое-то время приходит в другие места. Не всегда это правило соблюдается. Демонстрация в Новочеркасске не следовала за чем-то в столицах, или протесты в Пикалево... Это когда локальные обстоятельства вызывают какой-то взрыв. Но в общем и целом общественные тенденции такие. То, что произошло в Москве, какое-то эхо дальше получает в других городах. Иногда эхо гложет. Протесты 2011–2012 годов не имели особо сильного резонанса в других городах. Что будет с протестами нынешними — знать невозможно. Но по крайней мере считать, что оно началось бы в Екатеринбурге, а уж потом в Москве, менее вероятно, чем наоборот.

Общество без идеалов

К.Ф. Вы сказали, что население облыжно и заранее считает всех чиновников ворами. По моим впечатлениям, это убеждение даже формирует наши политические идеалы. Когда люди высказываются, что должно быть, если власть станет хорошей, лучшей и другой, то все говорят, что надо прекратить воровать и выбрать честных людей.

А.Л. Это действительно так, и если спрашивать людей, они это скажут. Но я бы этому не присваивал имени политических идеалов, поскольку они построены целиком на переворачивании: не воруют, не набивают себе карманы, а заботятся о... Политических идеалов у нас общественная культура просто не выработала. Мы многократно спрашивали людей: что вы ждете от политиков — и получали тривиальные требования. Очень часто такова задача электоральной социологии: кандидаты, чтобы понравиться людям, просят узнать, чего люди хотят. Это всегда дает совершенно одинаковый, очень неинтересный результат. Нужно, чтобы политик был добрый, умный, честный, еще чего-то. Это реальных требований к политике не образует.

Никто не требует: компетентный или обладающий знаниями в такой-то области. Если ты будешь на этом посту, ты должен знать вот это, вот это. Здесь ты должен обладать такими-то специальными качествами. Об этом никто не задумывается. И я уверен, что общество и не должно об этом задумываться. Эти требования должна политическая машина вырабатывать внутри себя. Другое дело, что машина должна быть под общественным контролем. И когда она начинает работать сама на себя, общество должно ее остановить. У нас нет этого. Но сами эти вопросы не должны быть в компетенции публики. Практика других обществ показывает, что совершенно разные фигуры приобретают вдруг общественную поддержку. Какие разные люди приходят на пост президента США. Какие разные люди оказываются во главе Италии или Франции. Украина совершила экстраординарный ход и выбрала актера на потеху российским обозревателям. Поэтому я думаю, что коллективных политических идеалов просто нет.

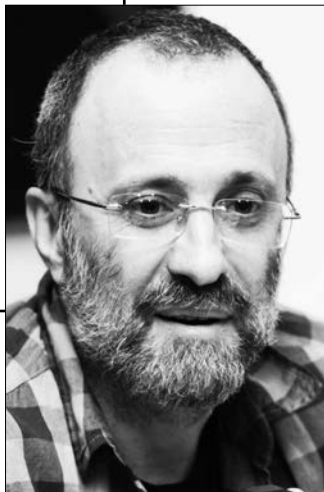
53% негодующих

К.Ф. Из тех исследований, которые в последний год делал Левада-Центр, какие результаты вам кажутся особенно важными и интересными?

А.Л. Я нахожу сенсационным результат годичной давности, когда после того, как президент не вернул в Думу закон об увеличении пенсионного срока, доля людей, которые сказали, что они готовы рассматривать свое участие в протестном движении, поднялась до 53%. Это беспрецедентно вообще, это семикратный рост показателя, потому что обычно он больше 12–13% не бывал. Это не значит, что 53% населения были готовы выйти на улицы. Это другое: значит, 53% выразили негодование. Такого раньше не было. Показатель сползал медленно — он до сих пор не пришел к своим исходным значениям. Это определенного рода протестный потенциал, но только речь не о протестах на улицах и баррикадах, а внутри людей. Ведь если кто-то и мог защитить народ от плохого правительства или плохих депутатов, которые покусились на его права, то, кроме президента, ни о ком общественное сознание не могло помыслить. Не надо говорить, что они именно этого от него ждали, они этого от него хотели. Не ждали, а хотели. Они от него этого хотели, а он это не сделал, и вот...

К.Ф. Рейтинг упал?

А.Л. Рейтинг довольно резко скакнул вниз за два месяца... С тех пор стали ошибочно заявлять, что рейтинг Владимира Путина стал падать. Он не стал падать, а упал до 63% плюс-минус 2% и держался на этом уровне очень долго. В последние три месяца начал отыгрывать наверх. Сейчас опять в районе 68%. Идут более сложные процессы. Я еще раз говорю: рейтинг президента не весь относится к президенту, он относится к обществу. Затянулась, ушла внутрь травма. Но между нею и протестами в Москве определенная связь есть. Московская, элитарная часть общества (Москва — более зажиточная и прочее) знает, что масса людей предпенсионного возраста, которая получила такой удар, тоже недовольна.



*Александр Согомов,
ведущий научный сотрудник
Института социологии
ФНИСЦ РАН*

Гражданское образование в истории отечественной общественно-политической мысли

**(Очерк 2. Просвещение и История:
контрасты николаевской России)***

*Не с Европой политической, а с
Европой мыслящей хотел я поста-
вить нас в более тесную связь...*

Петр Чаадаев.

Из «Записки» графу Бенкендорфу, 1832 г.

Вся вторая четверть XIX века для русского просвещения была «темной» эпохой откровенных гонений и жестких притеснений со стороны властей. Нетерпимость проявлялась не только к независимой мысли, но и к любым попыткам уйти в сторону от официальной идеологии, огосударственного образа жизни и «правильного» мышления. Даже университетская жизнь, по оценке русского историка-медиевиста Т.Н. Грановского (1813–1855), представлялась современникам «искусственной» и оторванной от «русского быта». Г.Г. Шпет (1879–1937) чуть менее столетия спустя задался очень точным вопросом: «...как все это терпелось русским обществом»? Ведь николаевская Россия, несмотря на сверхбюрократизм, была по тем временам вполне современной страной с активной общественной жизнью, по-европейски просвещенной элитой, передовой наукой, а главное — с образованностью, «получаемой не только из рук правительства, но и помимо него». Хотя очевидно, что «...подражательное по существу Просвещение было вместе с тем нигилистическим и разрушительным»¹. Идея же «правительственной интеллигенции» потерпела крах, а граф Уваров, в бытность министром просвещения, со своим вполне искренним стремлением поддерживать самодержавие

* *Продолжение. Начало см.: Общая тетрадь. 2018. № 3–4 (75); 2019. № 1–2 (76).*

превратился в реакционера и откровенное посмешище. Его просветительская политика лишь отталкивала молодежь от престола и его идеологии².

В этом, пожалуй, заключается удивительный парадокс первого поколения русской независимой общественной мысли. Рождение свободного поколения неправительственной интеллигенции способствовало, с одной стороны, генезису автономного от власти общественного интереса к гражданскому образованию, с другой — спровоцировало непредсказуемой силы просветительской откат, причем как институциональный, так и в интеллектуальной мысли. Именно в это время в пике николаевского официоза оформились два условных идеологических лагеря, преодолеть взаимную неприязнь между которыми, по крайней мере в сфере просвещения, в России с тех пор никак не удается.

Эти два лагеря — «западники» и «антизападники» — тогда и поныне не являются ни партиями, ни монолитными объединениями, а представляют собой условную агрегацию самых разных групп, кружков, движений, которые внутри даже одного лагеря почти никогда не могли найти согласия и общей платформы для объединения. Поэтому это скорее воображаемые идеологические фракции, вставшие на путь оппонирования официальной власти. И прежде всего — уваровской просветительской идеологии «самодержавие–православие–народность», насквозь пронизанной фальшью и двусмысленностью. Особую пикантность разделению на два лагеря придает тот факт, что мы не найдем, по крайней мере в николаевской России, ни одного интеллектуала, который последовательно в мысли и своих убеждениях

придерживался бы чисто западнических позиций. А вот антизападников самых разных мастей было предостаточно.

Примечательно, кстати, и то, что буквально все видные мыслители того времени выступали за преобразования в стране, даже самые последовательные славянофилы. Однако образы будущего империи у всех них были разительно непохожими: одни отталкивались от просвещенного универсализма, другие настаивали на следовании «особым» традициям, ценностям и «исконным» цивилизационным нормам России. При этом, мне кажется, их абсолютно некорректно разделять на «прогрессистов» и «консерваторов», хотя по некоторым культурным основаниям такой грубый водораздел был бы аналитически оправданным. Но обо всем этом чуть позже.

Россия, до определенного времени не познавшая значения гуманитарного творчества, а отчасти даже и не принявшая основ классической философии, становилась «европейской» в XVIII–XIX веках лишь усилиями государства, приглашенных немецких чиновников и хорошо подготовленной в Европе научно-технической интеллигенции. Поэтому и история — в европейской традиции ее «публичного» понимания, в качестве составной части гражданского просвещения, — так и не была привита к отечественной варварской «дичке» как сфера автономного знания.

Значило это буквально следующее: история не может и не должна существовать без государственного «расчета» и прямой «пользы» для власти. Тем самым она не могла обрести статуса самоценной и политически нейтральной рефлексии об опыте прошлого народов мира. Отношение к просветительской

истории было устойчиво циничным и предельно утилитарным. Хотя в университетских стенах историческая наука успешно развивалась как передовая гуманитарная дисциплина, вполне адекватная европейским стандартам и представлениям.

Впрочем, времена менялись и новые идеи во второй четверти XIX века начали проникать в дворянско-аристократическую и разночинную среды, а особенно в оппозиционно настроенные столичные университеты, меняя тем самым весь культурно-политический ландшафт страны.

«Россия в 1839 году». Восприятие николаевской России на Западе

Зачастую взгляд иностранца со стороны отрезвляет общественное сознание стран куда эффективнее внутренней аналитической работы «доморощенных» мыслителей. Именно с этим феноменом Россия впервые столкнулась в самый расцвет царствования Николая I, прекрасно образованного и искусственно венценосца, правда и достаточно консервативного правителя.

Отпрыск старинного французского аристократического рода, маркиз Астольф де Кюстин (1790–1857), все жизнь мечтавший стать литературным мэтром, но не получивший признания у читающих европейцев, предпринял отчаянную попытку остаться в веках самым необычным путем. Его современник Бальзак, отнюдь не большой почитатель его художественного таланта, однажды написал ему, что призвание маркиза — совершать путешествия и писать потом по воспоминаниям и записям литературные шедевры, которые не под силу никому из

профессиональных литераторов Европы. Сам же де Кюстин, вдохновленный глубокой по мысли и приобретенной успех у современников книгой Алексиса де Токвиля «Демократия в Америке» (1835), решил совершить удивительную авантюру — посетить Россию в целях создания схожего литературного сочинения в популярном тогда жанре писем об этой малоизвестной для европейской публики северной стране. И сотворил невероятное. Он написал поистине интеллектуальный шедевр, оставшись в памяти потомков именно этой книгой. Бальзак точно предсказал успех писателя. Впрочем, внешняя критика была беспощадной, особенно российская, которая обнаруживала в книге бесчисленное количество неточностей в мелких деталях, хотя так и не смогла возразить на ее главные посылы.

Любопытно, что де Токвиль и де Кюстин имели много схожего. Оба выходцы из аристократических семей, оба пережили сложнейшие для Франции турбулентные времена рубежа XVIII–XIX вв., но главное — оба искренне верили в ценности и легитимность «старого режима». Один отправился в Америку, чтобы понять истоки и природу «демократии» в ее самом отвратительном атлантическом проявлении, другой же отправился в противоположном направлении — в царистскую Россию, дабы найти аргументы против так называемой представительной демократии. Один хотел тщательно проанализировать сам феномен демократии и в результате, как мы знаем, основал современную социологическую традицию. Другой больше стремился к написанию литературного сочинения, пусть даже и со схожей целью, а именно — понять, почему монархический строй, не ограниченный конституцией, лучше рес-

публиканского, а общественная иерархия предпочтительнее политического эгалитаризма и социального равенства. По удивительному совпадению оба вернулись домой с *существенно изменившимися взглядами* на обустройство общественной жизни и политики в целом.

Токвиль признал позитивный характер демократии, хотя и не принял ее до конца, а де Кюстин, предвосхитив все кошмарные последствия не пожелавшего реформироваться деспотизма, вернулся

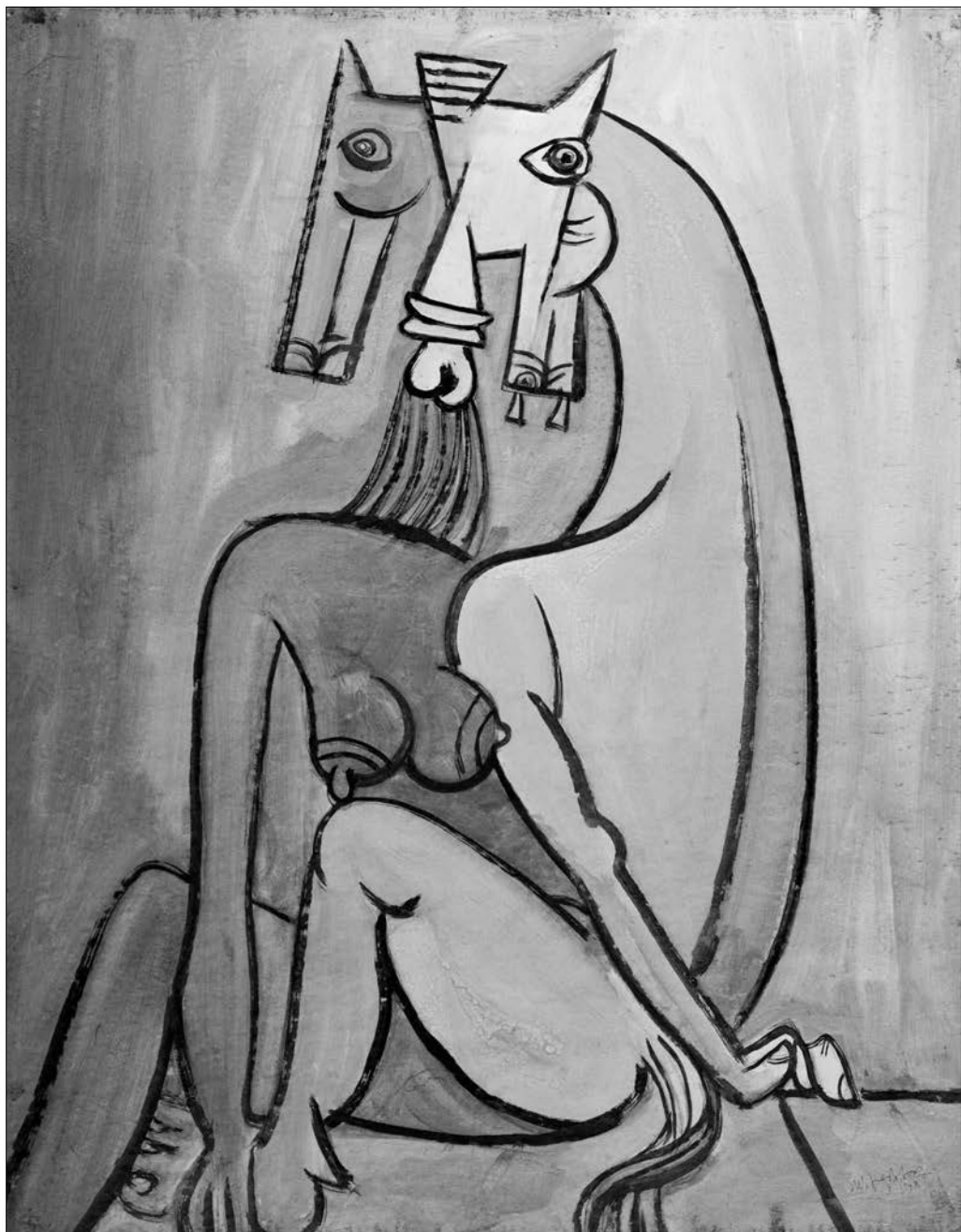
убежденным конституционалистом. Не случайно и тот и другой, мало владея информацией об этих противоположных исторических опытах, постоянно сравнивали их друг с другом — Россию и Америку. С тех пор прошло почти два столетия, а мировая социально-философская мысль так и не может избавиться от искушения такого прямого политологического сравнения.

Через несколько лет после своего возвращения де Кюстин публикует в нескольких томах свое сочинение, коротко назвав его «Россия в 1939 году». Книга мгновенно стала чрезвычайно популярной в Европе и в долгой жизни писателя выдержала множество легальных и даже «пиратских» изданий. Однако в России ее долгие годы было запрещено публиковать³, хотя весь высший свет зачитывался ею на оригинальном языке. Выдающиеся умы считали ее самым глубоким проникновением в ценности, традиции и установления страны, закрывая глаза на содержащиеся в ней неточности. Другие же считали ее поверхностной и неадекватно отражающей российские реалии. При этом сколь откровенно ее прославляли либерально

настроенные мыслители, настолько же яростно ее критиковали «охранители» власти. По косвенным свидетельствам известно, что втайне ее почитывал сам император, между прочим, проклявший книгу и ее автора при самом первом с ней знакомстве⁴.

Наблюдая за великосветской жизнью в Петербурге, Де Кюстин удивлялся тому, как для такого множества «рук и ног есть только одна голова»

В многостраничном сочинении «Россия в 1839 году» маркиз де Кюстин пространные и красочные описания городов, быта, встреч с разными людьми, знакомства с архитектурой и природой перемежает афористичными и колкими комментариями о русской политике и обществе. Именно они стали интеллектуальными раздражителями для одних и вызывали восторг у других. Надо заметить, что передовые умы николаевской империи болели одной очень «русской» болезнью, генетически унаследованной от великих умов предшествующей эпохи. Многие из них откровенно презирали российское государство, как открыто в этом, к примеру, признавался Пушкин, но это чувство естественным образом сочеталось у них с искренней любовью к отечеству, а подчас и бескрайним патриотизмом. Симптомы этой «болезни» мы обнаружили уже у молодого Карамзина, но отчетливо она проявилась у декабристов, Пушкина, Чаадаева, братьев Тургеневых и многих, многих других интеллектуалов тогдашней России. Оттого и жизнь их была нестерпимо мучительной и сложной, неважно при



Вифредо Лам. Сатана. 1942

этом, где они жили — в России или за границей, в Европе. Де Кюстин был искренне поражен единственным характером власти Николая I.

Наблюдая за великосветской жизнью в Петербурге, он удивлялся тому, как для такого множества «рук и ног есть только одна голова». Он сформулировал

свой главный диагноз следующим образом: жертвами личной власти императора становятся не только политические права подданных, но и их личное достоинство и независимость. Разумеется, определенные права у дворянства все же имелись, но, дарованные одним человеком, они в любой момент могли быть отобраны.

Это объясняет, кстати, почему в конечном итоге де Кюстин признает, что только лишь аристократия может выступать прочной основой свободного общества. Но это невозможно при ограниченной, то есть конституционной, монархии, а тем более при демократии. Следовательно, монархия в чистом виде остается единственной гарантией свободы, впрочем, это должна быть такая монархия, которая своей единоличной волею не могла бы отчуждать права, статусы и достоинства аристократов, в противном случае все аристократы, как писал де Кюстин, всего лишь «высокопоставленные рабы».

Следуя этой логике, он заключает: *при деспотизме общество становится его зеркальным отражением* и, по сути, абсолютно эгалитарным, ибо никакие статусы, происхождение и положение в обществе не имеют значения перед милостью одного человека. И здесь маркиз весьма иронично проводит парадоксальную параллель с демократическим эгалитаризмом Америки, описанным Токвилем. Перевернутый эгалитаризм отражался буквально во всем. И в том, как люди становились членами общества, как поддерживали его «правила игры», строили свои биографии и даже в том, какое образование и воспитание им предоставлялось.

Об образовании в николаевской России де Кюстин почти ничего не пишет.

Однако в своем знаменитом 15-м письме рассуждает об отношении русских к просвещению, «факту» и «истине», желанию выглядеть внешне по-европейски «адекватными», оставаясь внутренне «азиатами». Все это дает нам основание предположить, что он, как мудрый европеец, мог бы сказать об отношении российской элиты к истории как ключевому инструменту гражданского просвещения.

Де Кюстин вспоминает очень показательный для своего критического анализа эпизод, который выдает за историческую правду. Согласно молве, императрица Екатерина Великая открывала школы, дабы «удовольствоваться свое тщеславие». Однажды один из ее фаворитов заметил ей, что никто не отдает детей в школы. На что императрица якобы возразила: «Дорогой князь, не надо жаловаться, что у русских нет желания учиться; школы я учреждаю не для нас, а для Европы, во мнении которой нам надобно выглядеть пристойно; в тот день, когда крестьяне наши возжаждут просвещения, ни вы, ни я не удержимся на своих местах»⁵. Де Кюстин допускал, что русские могли бы усомниться в подлинности этого диалога, но в нем-то, по мнению маркиза, кроется самая суть русской власти. «Это злосчастное мнение Европы — призрак, преследующий русских в тайниках их мыслей; из-за него цивилизация сводится для них к какому-то более или менее ловко исполненному фокусу»⁶. Маркиз был убежден в том, что Николай I видел эту проблему, но не был уверен, что такой русский «недуг», возникший полтора столетия назад, можно было быстро излечить. А между тем, по мнению де Кюстина, именно *просвещение и воля* — вот что создает великих государей.

Очевидно, что в этом фрагменте 15-го письма со всей очевидностью просматривается идеал просвещенного монарха, который своим властным ресурсом выводит общество из варварского состояния. Но работает ли это проверенное временем европейское «правило» в николаевской России? Уверенность в обратном у де Кюстина была настолько велика, что он, скорее всего, ответил бы на этот вопрос отрицательно, ибо в стране, согласно его наблюдениям, живут две противоборствующие и воображаемые нации — Россия, как она есть, и Россия, какой ее власти желают представить перед Европой. Все сословия поражены *двуличностью*. «Они способны искусно лгать и естественно лицемерить, причем так успешно, что это равно возмущает мою искренность и приводит меня в ужас»⁷. Какой же это могло иметь эффект на распространение исторического знания в просветительских целях? Прямого ответа на этот вопрос у де Кюстина мы не обнаруживаем, зато получаем удивительную картину его понимания русского просветительского феномена: отношения к «факту» в обществе и во власти. Расхождение между внешними претензиями и внутренними реалиями, согласно де Кюстину, порождало в николаевской империи зло, не свойственное Европе, — *циничное отношение к правде*. Именно это, а здесь трудно не согласиться с Дж. Кеннаном, стало «истинным фокусом его обвинений николаевскому режиму» в целом⁸. Ложью были пронизаны все сословия и правительство. Де Кюстин в сердцах восклицает: «Я ненавижу только одно зло, и ненавижу потому, что считаю: оно порождает и предполагает все прочие виды зла; это зло — ложь»⁹.

Повсеместная фальшь вынудила его признать, что он, как путешественник, видит не страну, а театр, хотя все слова произносятся здесь такие же, как и повсюду. В словах нет никакой разницы, однако «кроме сути всех вещей». И оттого, а в этом маркиз был убежден, «в России еще не ведают страсти к истине, что владеет сердцами французов». Прогрессом было бы простое признание, что живут они при тирании. Но и этого не происходит, сокрушается де Кюстин.

Справедливости ради надо заметить, что он сам довольно часто обращался к истории России и знал ее отнюдь не поверхностно по европейским изданиям и из рассказов своих русских собеседников. При этом он не обнаруживал подлинного интереса к ней как со стороны простолюдинов, так и вельмож. Ему действительно часто попадали в собеседники люди, прекрасно образованные. Но не узрел маркиз в них никакого почтения перед «фактом». А отсюда и его главный тезис: *деспотизм не просто безразличен к истине, но он и переиначивает факты, борется против очевидного и побеждает его*. Таков окончательный вердикт именитого странника.

И что любопытно, тезис де Кюстина о всеобъемлющей лжи в николаевской России был созвучен не только размышлениям западников, но и самых крайних по взглядам славянофилов¹⁰. Наблюдая за российским обществом, де Кюстин обнаруживает примечательный, с его точки зрения, парадокс. Всем все было известно, однако же все скрывали свою осведомленность. Он иронично именовал этот феномен «немотой»: настороженность в разговорах, всеобщее умолчание правды, не-

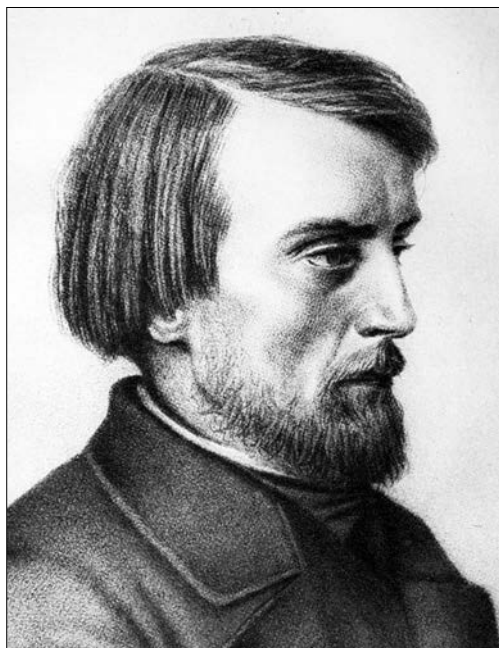
желание называть вещи своими именами, состояние всеобщей тайны — административной, политической и общественной. Дж. Кеннан верно подметил, что де Кюстин имперское презрение к истине, преднамеренные мистификации и расчетливые умолчания отнес к главным орудиям деспотического режима, а в общественных настроениях то же самое, с его точки зрения, свидетельствовало о признании своей отсталости, неверии в народ и стыде за тиранию¹¹. А поскольку смертная казнь в стране была отменена за все преступления, кроме государственной измены, русский человек вынужден был думать и жить «как солдат!... как солдат-завоеватель». Ибо «настоящий солдат, в какой бы стране он ни жил, никогда не бывает гражданином, а здесь он гражданин меньше, чем где бы то ни было, — он заключенный, что приговорен пожизненно сторожить других заключенных»¹².

Верноподданническое отношение к «факту» предполагало безусловный примат «правильной» интерпретации или комментария над выверенными данными. Такая истина — это то, что работает в интересах деспотической власти. Такую «истину» вполне можно назвать «охранительной». А «русская» правда, даже более того, и вовсе не нуждалась в достоверных фактах. Факт умалчивается, а при необходимости и переиначивается. Разумеется, преподавание истории в николаевской школе базировалось на конвенционально принятых хронологических датах и источниках, которые, однако, должны были касаться сути российской современности по минимуму, а отчасти даже и многих страниц ее прошлого. А посему преподавание истории скорее своди-

лось к познанию оторванного от актуальной действительности и чаще всего заимствованного из античной, средневековой или новой истории материала для зазубривания¹³. *Интерпретации истории строго контролировались и охранялись.*

Книга «Россия в 1839 году» была взглядом со стороны на культурно-политическую ситуацию в николаевской России, тиранию и подданническую атмосферу, культуру псевдогражданства. Взглядом — нелюбимым и остро критическим. И поскольку книга действительно содержала множество мелких неточностей, то этим воспользовались все ее недоброжелатели, считавшие сочинение де Кюстина предвзятым и некорректно толкующим подлинную реальность николаевской империи. Нам же интересны прежде всего содержащиеся в ней философские рассуждения, особенно рождавшиеся на сравнении России и Запада. Разумеется, нельзя принимать абсолютно все авторские комментарии за чистую монету. И, конечно же, совершенно не следует считать это сочинение аналитическим исследованием, в котором предложена научная трактовка русской действительности того времени, подобно «Демократии в Америке» Токвиля.

Путешествия и встречи де Кюстина носили случайный характер, многие выводы гиперболизированы. Очевидно, он был озадачен постоянным сравнением политических культур и традиций Запада и России, стремясь философски подражать Токвилю, но все равно оставался в первую очередь писателем. Увы, маркиз увидел Россию как монолитную в культурно-политическом смысле страну и не услышал, как в те



Виссарион Белинский

годы начали раздаваться, пусть еще только единичные, но все же вполне отчетливые голоса внутреннего протеста против режима в целом и в защиту гражданства, взамен подданству в частности. А главное — в поддержку истории, как инструмента гражданского просвещения. Даже знакомства с Чаадаевым не хватило де Кюстину, чтобы оценить его удивительную философскую глубину и мудрость.

Николаевская Россия, иными словами, согласно «картине» де Кюстина, не просто не продолжила ранние просветительские проекты предшествующей эпохи царствования Александра I, но и сделалась более реакционной в отношении гражданского образования вообще. Историческая докса на долгие годы всей второй четверти XIX века *законсервировалась в жестких охранительных границах.*

Многие убежденные и даже умеренные западники середины столетия, не гово-

ря уже о славянофилах, следуя принципам и ценностям европейского Просвещения, все равно рано или поздно возвращались к исходным российским позициям исторического познания и гражданского образования. А именно предпочли искать «правду» путем сотворения особенного исторического пути России. Правда, делали они это очень по-разному.

Виссарион Белинский.
История — от факта
к гражданскому воображению

Теперь мысленно переместимся в 1840-е годы, оставив позади мыслителей поколения «декабристов без декабря» — людей, сочувствовавших и мысливших так же, как и декабристы, но по разным причинам и обстоятельствам не принявших непосредственного участия в восстании. В завершении всего очерка мы вновь вернемся в это же время и к этим же людям. Жанр культурно-философского, а не строго исторического очерка позволяет нам совершать подобные скачки во времени для более глубокого проникновения в «дух» эпохи и мысли ее главных героев.

Виссарион Белинский (1811–1848), разночинец с прекрасным филологическим и философским образованием, чуткий к передовой мысли и русскому языку, литературный критик и самобытный писатель, всю свою сознательную жизнь прожил именно в николаевской России и воочию наблюдал деградацию режима, кризис образовательных институтов, политической культуры и интеллектуальной среды в целом. Предвосхищая глубокие преобразования, которые неизбежно произойдут в России и Европе в середине и

второй половине XIX века, он кардинально пересматривает концепцию гражданина и роль истории, как инструмента гражданского просвещения. При советской власти Белинского неправомерно включали в круг первых русских революционеров. Очевидно, это было большой натяжкой. Вспомнить хотя бы с какой прохладой он встретил революционный подъем в Европе в 1940-е годы. Белинский, конечно же, был демократом и западником как по своим философско-политическим убеждениям, так и по историческим взглядам. Но он всегда интеллектуально дистанцировался от радикального крыла западников-либералов. Он скорее был западником-эгалитаристом с откровенно социал-утопическими взглядами на мироустройство. И не будет большим преувеличением утверждение, что Белинский был одним из первых русских мыслителей с сознанием, порожденным логикой и философией европейского Просвещения. Он — *системный универсалист*. Его мысль направлена на актуальную жизнь общества и человечества, чего, разумеется, больше всего опасалась верховная власть, пытаясь оградить русское студенчество и университетскую профессуру от «тлетворного» влияния европейской классической философии.

Разумеется, Белинский отчетливо сознавал свою публично-просветительскую миссию. Он ратовал за просвещение как основу любых общественных преобразований, но считал, что не следует при этом ни торопиться, ни сбавлять скорость, следуя аутентичному и *исторически обусловленному* пути социального обновления России. Он допускал возможность «революционных потрясений», но только в случае, если

после них с помощью просвещения будут обустроены механизмы общественного прогресса. Прогрессом он считал рост знаний и изменение сознания человека, за что в советское время его нередко обвиняли в идеализме. Белинский был убежден, что динамизм обществу придает только просвещение, а оно, в свою очередь, формирует у человека частного его гражданский и нравственный облик.

Как и многие его современники, он был серьезно увлечен делом скорее народного воспитания, нежели систематическим гражданским образованием, задавая на десятилетия вперед *ошибочную матрицу*: всякий раз оппозиционные режиму национальные силы делали ставку на быстрое (пере)воспитание масс, а не на методичное обучение основам гражданской жизни — знаниям, ценностям, навыкам и компетенциям. А в итоге, как мы помним, большевистская Россия вообще отвергла путь построения эффективного гражданского общества, выбрав опасный сценарий тоталитарной мобилизации масс и политического авторитаризма через насилие и идеологическую индоктринацию всего взрослого и молодого населения. В творчестве Белинского как нельзя лучше был проявлен напряженный внутренний конфликт между старой (правительственной) и новой (прежде всего университетской) интеллигенцией. Точнее, между мыслью, официально преподаваемой, и мыслью творческой и ищущей, которая, по мнению Г.Г. Шпета, в то время была еще сугубо утопической по своей сути¹⁴. «С этого момента всякая философия школьная, и тем самым официальная или официозная, обрекалась на невнимание и на бесплодие. Небесплодным



Ив Танги. Без названия. 1926

могло оставаться только то, что от-
вечало новому духу, с его собственны-
ми колебаниями, исканиями и увлече-
ниями»¹⁵.

Несложно увидеть, как история по-
новому заиграла в философских трактов-
ках Белинского, особенно после того,
как он выдвинул тезис об особой исто-
ричности актуального времени в мире
(XIX век)¹⁶. Понятие, к которому он ча-
сто прибегает, — *историческое созерца-
ние* — предполагает отнюдь не восточ-
ную созерцательность в отстраненно-

медитативном смысле. Эта созерцатель-
ность — активна, обращена вовнутрь
настоящего времени и питается опытом
мирового исторического разума. «Исто-
рическое созерцание есть основа всяко-
го знания, всякой истины в наше вре-
мя»¹⁷. В своих рецензиях на историче-
ские труды Белинский, как нигде лучше
в других своих текстах, продемонстри-
ровал приверженность универсалист-
скому «духу» Просвещения.

Историческое созерцание, думал он,
дает нам основание судить о прогрессе,

о разумной необходимости, гражданском продвижении обществ, противостоянии предрассудкам, о роде человеческого как о единой «идеальной личности», с которой каждому конкретному человеку необходимо соотносить свои помыслы и поступки, и т.д. А по-сему именно первоначальное историческое научение так важно для молодого человека; именно оно решает его *дальнейшую гражданскую участь*. Поразительно, насколько принципиально такое понимание просветительского потенциала истории отличало Белинского не только от всех предшественников, но и от большинства его современников, причем даже из лагеря последовательных западников.

В знаменитой интеллектуальной дуэли Гоголя и Белинского 1847 года отчетливо проявились две позиции русской интеллигенции на исходе первой половины XIX века. Спор между ними шел по поводу *первичности* «гражданства» — земного или небесного¹⁸. Гоголь полагал, что нравственное очищение как главная общественная цель возможно лишь через осознание примата гражданства небесного, за что его, кстати, абсолютно незаслуженно обвиняли в мракобесии. Просвещение для Гоголя — процесс христианско-духовного «усредоточения» человека в самом себе (термин Н.В. Гоголя). Поэтому, только осознав свое небесное гражданство, человек может обрести и гражданство земное, проникнувшись своим божественным призванием.

Белинский в своем знаменитом зальцбруннском письме Гоголю (от 15 июля 1847 г.) противопоставляет логике великого писателя главные достижения европейской цивилизации, ставшие возможными прежде всего в результате

систематического просвещения народов. Это, по его мнению, — права человека, эффективные и справедливые законы, гражданские свободы и преодоленное невежество. Белинский, надо заметить, никогда не был воинствующим атеистом. С Творцом у него были свои особые отношения, а христианство он все же принимал как свидетельство торжества «веры и истины» для всего человечества. Иными словами, он ни в коей мере не отрицал духовной значимости гражданства небесного, но был уверен, что только гражданство земное способно привести к творческим общественным преобразованиям и поспособствовать нравственному очищению человека. В силу этого он никак не мог принять последнее сочинение Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями», насквозь пронизанное мистицизмом и церковным благочестием. Никогда Белинский не пренебрегал моральными вопросами, но все же, будучи реалистом, полагал, что политическое переустройство России и установка людей на самосовершенствование скорее приведут страну к процветанию и счастью граждан, чем просто их приверженность к христианской вере.

Оттого и тезис Белинского о том, что «век наш преимущественно исторический», может быть понят адекватно только сквозь призму такого исторического созерцания, которым проникнуты все сферы общественного сознания и социального поведения. История сделалась общим основанием и единственным условием всякого «живого знания» и всякой истины, утверждал Белинский. Не удивительно поэтому, почему он с особой пристрастностью отнесся к учебным руководствам по ис-

тории для гимназий 1830–1840-х гг. Белинского не устраивала ни история через красочную «образность» екатерининского времени, ни «зубрежка» николаевской эпохи.

Ему требовалось нечто принципиально иное для целей гражданского просвещения, а именно — *историческое воображение*. По мысли Белинского, оно рождается исключительно из познания идей мировой истории. Факты без идей, согласно Белинскому, — лишь «сор для головы и памяти». Тонко чувствуя русский язык, он разводил историческое знание и историческое *разумение*. В когнитивный круг последнего он включал также и «суд над историей», исходя из примата исторического разума над голой фактологией и утверждая право мыслящего гражданина выносить свой вердикт событиям и личностям прошлого.

Уваровская эра в истории российского образования, с одной стороны, была ознаменована долгим и жестким идеологическим контролем над содержанием школьной дидактики, особенно в сфере гуманитарного знания, а с другой — стимулировала написание и издание большого числа учебных пособий, в том числе по всеобщей и отечественной истории. Все они были крайне непохожими друг на друга, но это уже были оригинальные русские учебники, а не пересказы или фрагментарные переводы с иностранных языков как раньше. Белинский очень внимательно следил за ними и живо откликался на каждую новинку. Он весьма подробно разобрал несколько очень значимых для своего времени учебных пособий по всеобщей и отечественной истории — Ф. Лоренца («Руководство к всеобщей истории», СПб., 1841), С. Смарагова

(«Руководство к познанию новой истории», СПб., 1844), И. Кайданова («Учебная книга всеобщей истории», СПб., 1834), а также Н. Полевого («Русская история для первоначального чтения», М., 1835)¹⁹. Причем каждая его рецензия представляла собой не столько тщательный и критический анализ достоинств и недостатков этих «руководств», сколько скорее делала их поводом для выражения собственных, авторских взглядов на то, для чего нужна история и как она может сработать в целях гражданского просвещения.

Молодой Белинский уже в середине 1830-х категорически отвергает принятую в первой четверти столетия модель исторического повествования о «достопамятных явлениях в мире» и тем более о «деяниях и судьбах людей» (Кайданов). Это для него очень узкий, как он выражался, «биографический» подход. Для целей гражданского просвещения необходимо переместить дидактический акцент на род человеческий и максимально актуализировать историю современностью. «Пора бы удостовериться г. Кайданову, что история есть картина успехов человечества на поприще самосовершенствования, или, другими словами, наука, показывающая, каким образом и вследствие каких причин жизнь человечества, развивающаяся под формой политических обществ, явилась в том виде, в каком теперь находится»²⁰.

Белинский критикует историков-дидактов, в частности Кайданова, за возвращение к старому карамзинскому пониманию предназначения истории: знание опыта страданий предков, благодаря которым современники живут лучшей жизнью. В этом центральном для гражданского образования вопросе

Белинский как никогда категоричен: «Нет, г. Кайданов, человечество делается лучше не от знания истории, не от опытности, почерпаемой из ее уроков, но от полного гармонического сознания своего назначения, цели своего существования; а это сознание может произойти от повсеместного общего просвещения... Итак, ищите в истории не уроков опытности, завещанной от предков потомками, не удовлетворения простого любопытства; ищите в ней дыхание жизни божьей, проявляющейся или хотящей проявить себя в человечестве!»²¹ Да, для Белинского историческое знание — *исключительно самоценно*. Смысл знания — в самом знании. Но «польза» истории прежде всего в ее *гражданской ориентированности*. И благодаря этой трактовке он стал для русской интеллектуальной традиции чрезвычайно оригинальным мыслителем. Справедливости ради следует заметить, что многие отечественные мыслители историсофские идеи черпали у Гердера, Гегеля и из философии истории Вольтера. И Белинский был не исключением. Но его понимание гражданской миссии истории было не заимствованным и весьма не тривиальным.

Десятилетием позже Белинский становится еще более радикальным в понимании роли истории для гражданского просвещения. Он отвергает простое определение ее роли исключительно в парадигме «верности в изложении фактов». В своих рецензиях он крайне редко критикует авторов за неточности или недочеты в деталях. Такое наивно телеологическое определение предназначения историка делает его «свободным» — если к нему нет претензий в изложении материала — от необходи-

мости выразить свое мнение, соотносимое с его личными взглядами, философией и убеждениями. И тут историк попадает в ловушку, считает Белинский, потому что невозможно изложить факты без какого-либо «воззрения на них». Историческая истина выше нейтральной эмпирической учености. Эрудиция — важнейшее подспорье историка, но она лишь одно из средств, ведь дидактическая последовательность вовсе не тождественна хронологической последовательности изложения материала. А привнесение в историческое созерцание идей и взглядов автора вовсе не является вредоносным «вмешательством» в «бессмысленную достоверность». Исторический рассказ должен быть соотносимым с *гражданскими и политическими суждениями* — таков главный просветительский вердикт Белинского.

«Величайшая слабость ума заключается в недоверчивости к силам ума», и, возможно, от этого люди грамотные и даже ученые так «не любят философии в истории»²². А потому: «Вера в идею составляет единственное основание всякого знания. В науке должно искать идеи. Нет идеи, нет и науки! Знание фактов только потому и драгоценно, что в фактах скрываются идеи; факты без идей — сор для головы и памяти»²³. Если учесть, что рецензию на пособие С. Смарагдова (1844) Белинский пишет параллельно тому, как де Кюстин сочинял свою «Россию 1839 года», то проведенная им реабилитация исторического факта обретает совершенно особый смысл. Это было больше, что простая реабилитация «факта» в атмосфере тотальной лжи и неправды. Белинский остерегает читателей от отождествления факта и исти-

ны и проповедует примат идеи над чистым фактом. Для российской исторической традиции, где философские искания шли во внутреннем пространстве идеологического знаниевого треугольника (образ—толкование—факт), Белинский выступает мыслителем беспрецедентной гражданской последовательности. Он не принимает ни наивной ученой беспристрастности, ни нагромождения событий и дат, выдаваемого за научный подход. Для него история — это *главный смыслообразующий инструмент* всякого гражданского сознания, хоть и жил он по-прежнему в среде, где в общественном развитии и судьбах человека ничего не виделось, «кроме бессмысленного произвола слепого случая». «Чистая» фактология изменить этой знаниевой парадигмы не могла. Только философия открывает в истории аутентичные смыслы и значения. А без этого возможности истории как науки останутся открытыми только для «одного слабоумия или наглого шарлатанства»²⁴.

История, как относительно молодая для Европы XIX века наука, открывала новые цивилизационные векторы для нравов людей, их частной жизни, искусств и, главное, для публичной политики. Белинский утверждает, что это историческое направление становится великим доказательством прогресса человечества, когда отдельные люди начинают сознавать себя гражданами, «живыми органами общества» и «живыми членами человечества». Белинский четко различал две истории: одна, которая объективировано делается, другая, которая субъективировано пишется. Для формирования гражданского сознания важна, конечно же, вторая, однако сочинить ее дано историку не из

каждой страны или даже цивилизации. Ибо «...историю может *писать* только народ, который своею жизнью *делает* историю, то есть наполняет массу *разумных*, а не *случайных* событий, составляющих содержание истории» (весь курсив — *В.Б.*)²⁵. А это разумное «делание», собственно, и означает прогресс.

Так просветительский круг в учении Белинского замкнулся. От идентификации факта он продвигался к его идейному объяснению и в конечном итоге к включению «идейных» фактов в системное и научно обоснованное гражданское воображение, где аутентичность делаемой и сочиняемой истории в обоих случаях проявляется через понимание прогресса народов и рода человеческого в целом.

Повторно пережитый новейшими поколениями людей опыт республиканского Рима, демократических Афин, французской революции — все это, утверждал Белинский, сеет воспитательные зерна гражданственности, уважения к праву, чувства гордости и неприкосновенности личного достоинства, искреннего патриотизма и свободы, способствует примирению «крайностей» — общественного и личностного начал. А в то же время «обаятельный мир древности» формирует в молодых людях гражданскую «ненависть» ко всем сословным пережиткам, кровопролитным войнам и деспотизму.

Белинский без стеснения упоминает всех своих европейских предшественников по части философии истории, и примечательно то, что все они разделяли именно универсалистские представления европейского Просвещения. А вот в стане западных историков он обнаружи-

вает совсем немного выдающихся и, как он пишет, «удовлетворительных пример». Причина не столько в отсутствии талантов, сколько в понимании сложной гражданской миссии истории. Для написания всеобщей истории нужно удивительное соединение многих условий: громадная эрудиция, широкие симпатии, многосторонность созерцания, высокое философское образование, глубокое знание людей и жизни, сила личного убеждения, носящая «характер религиозный» и соединенная с «той гуманной терпимостью, которая вытекает из живого знания законов необходимости», ну и, конечно же, художественный талант²⁶.

А разве все эти свойства ума не являются атрибутами развитой гражданской культуры? Ведь в ней историческое начало и частная жизнь людей «перемешаны и слиты между собой, как праздники и будни»²⁷. Впрочем, время такой истории еще не пришло, скорбно резюмирует свои рассуждения Белинский. Живем мы пока только в переходный период — бесплодную и лишенную великих верований эпоху, совсем не благоприятную ни для формирования гражданского воображения, ни для генезиса обновленной истории в целом.

Казалось бы, успешно реабилитировав исторический «факт» и извлеки его из лживой «охранительной» образовательной среды, Белинский отверг просветительскую дидактику исторических «образов», восходящую истоками к ломоносовским временам, и оправдал «спокойное беспристрастие» ученого-историка. Что еще необходимо было

для инновационного понимания истории во имя гражданского просвещения? Ответ прост: еще больше *заострить универалистские смыслы исторических идей*.

И Белинский сделал это так, как никто

Живем мы пока только в переходный период — <...> лишенную великих верований эпоху, совсем не благоприятную ни для формирования гражданского воображения, ни для генезиса обновленной истории в целом

Виссарион Белинский

другой из его российских предшественников и современников, опираясь на главные положения популярной в России кантовской и гегелевской философии. Он утверждает: «В основании всеобщей истории должна лежать идея человечества как предмета единичного, индивидуального и личного. Задача всеобщей истории — начертать картину развития, через которое человечество из дикого состояния перешло в то, в каком мы его видим теперь»²⁸. В самом деле, история сама по себе имеет мало смысла (кроме чисто энциклопедического), но только если она не связывает прошлое с настоящим, если она не указывает дороги прогресса и не рисует образов будущего для себя-общества-человечества. Из всего этого становится понятным оптимистический пафос Белинского-просветителя: «...живая вера в прогресс и ее следствия — сознание своего человеческого достоинства — вот плоды изучения истории, вот великое значение великой науки!»²⁹ Очевидно, что в силу этих интеллекту-



Ив Танги. Глубокая мутация. 1942

альных установок Белинский с таким неподдельным вниманием относился ко всем выходящим в свет в 1830–1840-е годы историческим пособиям. Вот что он пишет по поводу оптимального, с его точки зрения, руководства: «Исторический учебник, вопреки об-

щепринятому ложному мнению, отнюдь не должен быть чужд всяких рассуждений, предложенных от лица автора... Их цель должна быть — приучение молодого ума рассуждать без резонерства, мыслить без сухости и вникать не только в смысл, но и в поэ-

зию великих мировых событий. Но еще большее умение автора исторического учебника должно состоять в том живом и вместе простом изложении событий, которое говорит прямо уму и фантазии и потому без труда удерживается памятью»³⁰. Итог, согласно Белинскому, напрашивается сам: *ум и память гражданина держатся не на «голых» фактах, а на историческом воображении и вдумчивом созерцании.*

В этом небольшом фрагменте из его рецензии отчетливо проявлено, насколько подход критика был философски и логически контрастным официальному образовательному целеполаганию. О том, какие задачи гражданской дидактики выносятся на передний план и каким образом обосновывается «польза» истории, Белинский отвечает, руководствуясь не прагматическим мотивом пользы для властей и государства.

Взгляды Белинского на историю как инструмент гражданского просвещения для всей первой половины XIX века были новаторскими и бескомпромиссными. Однако, я думаю, все же прав был Г.Г. Шпет, утверждавший, что Белинский, как представитель новой интеллигенции и нового «духа» в смысле влияния на развитие русской мысли был все же фигурой «обреченной»³¹.

Трудно не согласиться и с Герценом, который уже после смерти Белинского напишет про него мудрые строки: «Белинский и его друзья не противопоставили славянофилам ни доктрины, ни исключительной системы, а лишь живую симпатию ко всему, что волновало современного человека, безграничную любовь к свободе мысли и такую же сильную ненависть ко всему, что ей препятствует: к власти, насилию или вере»³².

Иван Киреевский. «Прошлое» как просветительский конструкт «старших славянофилов»

Белинский был западником по умонастроению и ценностям и при этом весьма умеренным «либеральным реформатором» в отношении необходимых преобразований в стране. Он удивительным образом сочетал в себе установку на универсализм, диалектику и неказенный патриотизм. Его более молодые современники, славянофилы старшего поколения, были, напротив, завзятыми антизападниками по общему мироощущению и в политическом мышлении, правда тоже довольно умеренными и осторожными «реформаторами».

Ранее обе эти культурные оппозиции сосуществовали в «одной голове» Карамзина, когда почтение перед Западом парадоксальным образом сочеталось с параллельным желанием дистанцироваться от него как можно дальше. Во второй четверти XIX века произошел «раскол» этого уникального сознания, который привел к образованию двух непримиримых фракций русской идеологии николаевского времени. Их действительно многое объединяло содержательно, но разительным образом отличало прежде всего отношение к истории и гражданскому просвещению в целом.

Ни западники (В. Боткин, П. Чаадаев, И. Тургенев, К. Кавелин и др.), ни славянофилы (А. Хомяков, братья Киреевские, братья Аксаковы, Ю. Самарин и др.) не представляли собой какие-то культурно-политические или тем более партийные монолиты. Обе фракции состояли из большого числа университетских кружков и группок, а также временных союзов авторов во-



Иван Киреевский

круг журнальной или научной периодики. По мере «взросления» и меняющихся внешних и внутренних обстоятельств эти люди перетекали из одной группы в другую, меняли свои убеждения и, что самое главное, крайне редко оказывали какое-либо чувствительное влияние на реальную политику в стране, хотя всегда находились в самом центре публичных дебатов. Государство, в свою очередь, предпочитало дистанцироваться от тех и других, хотя эмоционально больше склонялось в сторону славянофилов. Впрочем, даже высшая власть — прежде всего в лице императора Николая I — считала славянофилов опасной оппозицией. И не просто уклонялась от прямых контактов с ними, но и проводила регулярные репрессии, устанавливая за ними постоянную тайную слежку, закрывая журналы, запрещая публикации.

В бытность графа Уварова министром народного просвещения, конечно же, университетские двери были открыты в первую очередь идеологам «официальной народности» в целях распространения «правильного» исторического знания и толкований (М. Погодин, С. Шевырев). Но вовнутрь университетских стен проникали и западники, и славянофилы. Правда, сам министр тоже чувствовал определенное напряжение от неестественности в отношениях со славянофилами. Тем более он не проявлял большой готовности предоставить им подведомственный патронаж, хотя временами и оказывал властную протекцию нарративам их русского архаизма.

Что же все-таки объединяло западников и славянофилов? Прежде всего настоятельное требование серьезных реформ³³. А различало — смыслы, которые они вкладывали в эти необходимые, по их общему мнению, перемены. Причем это касалось буквально всех принципиальных сфер общественной жизни, шла ли речь о сословном обустройстве империи, распределении привилегий, реорганизации чинов, реформе крепостного права, реструктурировании государственной службы, учреждении конституционализма и ограничении монархического деспотизма, введении свободы слова. Все это в равной мере обсуждалось в обеих идеологических фракциях. Status quo подвергался жесткой критике, сценарии преобразований предлагались разные — от кардинальных до очень осторожных.

Особенно наглядно это парадоксальное «сходство-различие» можно проиллюстрировать на примере их отношения к русской общине³⁴. Славянофилы сочи-

няли ей панегирик и категорически отказывались интерпретировать ее роль исключительно как административно-экономическую и низовую единицу российского общества. Они скорее видели в ней базовый порядок русской жизни, а еще корректнее — всеобщую этическую норму русского мира. Западники же мало того, что оценивали общину в хозяйственном смысле нерентабельной и неэффективной организацией производителей-собственников, но и видели в ней, наряду с крепостным правом, чуть ли не самый главный атавизм страны. У Белинского, в частности, всякая похвала русской общине вызывала резкое неприятие, а мечтания оппонентов о благой общинности русских он саркастически называл «умилением патриархальностью».

Или возьмем другой пример. С легкой руки Герцена, придумавшего слово «централизаторство», тема взаимодействия центра и периферии порождала регулярные идеологические баталии. Белинский и славянофилы отвергали позитивную значимость любых локальных факторов (местные культуры, словесные различия, городские вольности, несимметричное распределение территориальных прав и т.д.). Они исходили из того, что частные интересы и локальные предпочтения должны быть настроены на общественную пользу и переподчинены центральной власти. Славянофилы, в свою очередь, выступали против сепаратизма и децентрализации, желали видеть правительство более «русским», чем оно было на самом деле, интуитивно чувствуя, что без помощи «сверху» русское общество окажется в небезопасном состоянии, как в социокультурном, так и во внешнеполитическом аспекте. Западники

же, делая ставку на системообразующую функцию централизованного государства, не разделяли ни шовинистических настроений, ни антирегионализма славянофилов. Они считали необходимым развернуть Россию лицом к Европе, и поэтому их мысль неизбежно дрейфовала в сторону западных концепций децентрализации и космополитизма, за что они подвергались ожесточенной критике со стороны всех оппонентов.

Однако главный водораздел между концепциями западников и славянофилов лежал в плоскости смыслового наполнения того, чем все-таки *должно стать просвещение* в России. В предыдущем очерке я предпринял попытку развести два очень близких понятия — «просвещение» и «просветление»³⁵. Причем не только лексически, но и в плане глубинной между ними разницы в значениях. Казалось бы, однокоренные слова, а сколько смысловых оттенков они открывают русскому уху. Кстати, в большинстве европейских языков это лексическое разведение отсутствует в принципе, причем не только по коннотации, но даже и просто словарно.

Если очень грубо сформулировать разницу между ними, то несложно обнаружить ее в глубинном несогласии между славянофилами и западниками: и те и другие апеллировали к просвещению, но не просто подходили к нему с разных сторон, а пытались вложить в него свои аутентичные философские значения. Предельно кратко: *славянофилы делали акцент на вере и духовно-нравственном просветлении народа, западники — на знании и рациональном образовании граждан*. Конечно же, я упрощаю богатую историческую картину,

однако, мне кажется, в такой семантической дивергенции предельно емко и вполне корректно выражается конфликтный дух идейных противоречий николаевской эпохи.

Этот идеологический водораздел нашел свое изначальное текстовое воплощение в письменной перепалке Гоголя и Белинского на исходе их жизни, когда каждый из них в этой заочной полемике понимал, что составляет свое культурно-политическое завещание. Впрочем, об этом речь уже велась выше в разделе, посвященном идейному наследию Белинского.

Славянофильский акцент на духовно-нравственном развитии народа и страны в целом ставил, как в то время казалось буквально всем славянофилам, *Веру в преимущественное положение перед Знанием*. Этим объясняется многое. И свойственное им замалчивание вопросов образования, и мистический подход к личности, соборности, народности, христианской вере, но в первую очередь глубокий внутренний конфликт с доктринами светского образования и рационально-гражданского просвещения.

Славянофильская концепция философии истории с излишком наполнена антизападничеством, истоки которого мы обнаруживали уже у Карамзина и молодого графа Уварова. Виднейший представитель славянофильства Константин Аксаков (1817–1860), рассуждая о различиях в историческом развитии Европы и России, видел на Западе распад и разложение всеобщности, а в России, напротив, воплощение живых и исконно национальных начал. Он утверждал, что российская история демонстрирует торжество общинности, смирения, добровольного подчинения

народа правительству; а европейская — конфликты, борьбу сословий и групп, постоянные революционные брожения и прочие «недуги». А посему, с его точки зрения, не было ничего хуже для России, чем подражательство Западу при Петре I, сопровождаемое большой кровью и насилием. Петровский «переворот» стал делом «небывалым», оторвавшим страну от ее родных источников и подтолкнувшим ее к ложному пути. Возврат на путь истины возможен только через *иное просвещение*, которое сам Аксаков называл то «церковно-славянским», то «русским», о значениях которого несложно догадаться³⁶.

Критика славянофильства со стороны западников чаще всего отталкивалась от признания петровских реформ как национально ориентированных и прогрессивных для страны. Белинский и вовсе утверждал, что в Петре Великом, как ни в каком другом русском царе, воплотился «истинный народный дух», и поэтому его преобразования никак не изменили «нашей народности». Иными словами, всякий спор антизападников и западников так или иначе во второй четверти XIX века выводил на понимание смыслов и целей гражданского просвещения, сталкивая оппонентов в буквальном смысле лбами и тем самым делая их еще более непримиримыми.

Иван Киреевский (1806–1856)³⁷, отпрыск старинного дворянского рода, из писательской семьи, ведущий религиозный философ николаевской эпохи, наиболее полно выразил общий настрой славянофилов старшего поколения к просвещению и роли истории в нем. Его знаменитое сочинение «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России», опубли-

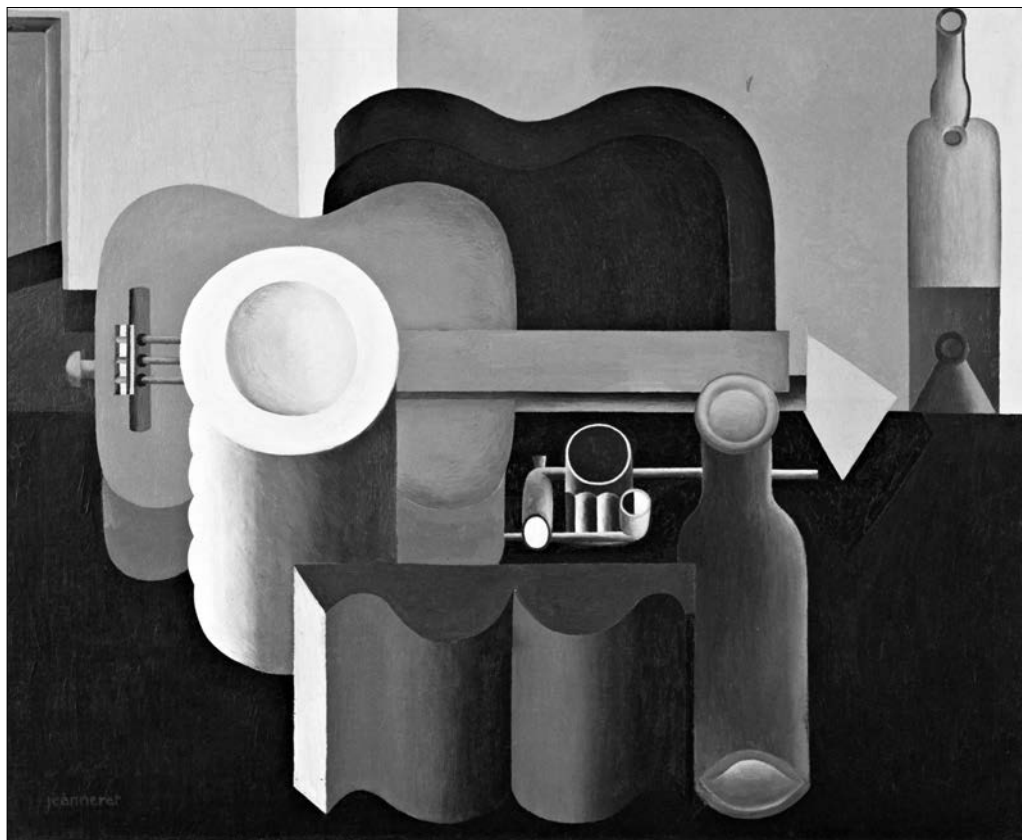
ликованное в славянофильском журнале «Московский сборник» (1852), надедало в свое время много шума. Власти сочли автора неблагонадежным, а статью настолько бунтарской, что предпочли попросту закрыть журнал после этой публикации.

Молодой Киреевский, прожив большую часть жизни в Москве, входил в передовые литературные салоны и политические кружки «вольнодумцев» наряду с такими яркими личностями «постдекабризма», как Вяземский, Пушкин, Одоевский, Титов, Чаадаев, Хомяков и другие. Неслучайно уже в 1829 году им заинтересовалось Третье отделение, за ним было установлено наблюдение из-за опасения, что он и его «подозрительные друзья» замыслили «овладеть общим мнением для политических видов»³⁸. Друзья собирались еженедельно по воскресеньям и жарко обсуждали интересовавшие всех общественно-философские вопросы. Под завершение 1829 года между ними завязался главный спор об отношении русского просвещения к европейскому, который с того времени стал центральным предметом умственной деятельности Киреевского. После того как он провел почти целый год за границей, а в Берлине имел счастье слушать лекции и лично познакомиться с Гегелем, вдохновленный немецкой философией и идеями европеизма в целом, Киреевский принимает решение начать свой собственный просветительский проект.

В 1832 году литературный журнал с броским и лаконичным названием «Европеец», который Киреевский сам же основал, публикует в двух частях его статью «Девятнадцатый век», в которой он то дистанцируется от западного Просвещения, то критикует «почвенни-

ков», то намекает на необходимость реформ в России для приведения ее в состояние, сообразное современным гражданским потребностям, то вообще предает анафеме весь западный мир за чрезмерный практицизм и отдаление от духовности. И хотя автор ничего не сказал прямолинейно, предоставив самому читателю сделать важные для него выводы, тем не менее в статье легко угадывалась аллюзия на конституционализм и институционально-ценностный универсализм, в результате чего журнал был закрыт по велению недовольного императора, узревшего в статье недопустимые мысли и неприятные для России сравнения. Журнал был анонсирован Киреевским как литературный, но Николай I, судя по строкам из одного письма Бенкендорфа, счел статью политической, где сочинитель под словом «просвещение» понимает свободу, что деятельность разума означает у него революцию, а искусно отысканная середина не что иное, как конституция»³⁹. На цензора, пропустившего первые два выпуска журнала было наложено взыскание, а само издание было запрещено. Для Киреевского наступили два долгих десятилетия вынужденного молчания, хотя от излюбленного предмета своих размышлений он так и не отказался.

А между тем текст по своему настроению и глубине был совершенно беспрецедентным для всей предшествующей истории русской интеллектуальной мысли, хоть и философски довольно непоследовательный. Начать хотя бы с того, что у Киреевского мы впервые в истории русской мысли обнаруживаем само понятие «гражданственная образованность». Равнодушие ко всему он также считал недостатком «гражданственности» у населения. И это совер-



Ле Корбюзье. Натюрморт. 1925

шенно не случайно, поскольку он не считал возможным сведение просвещения только к точным наукам или элементарной грамотности. Его прежде всего интересовал «дух просвещения», который нельзя уложить в узкие рамки какой-то научной дисциплины, это и философское мышление, и исторические традиции в культуре, праве, и гражданский навык активно воспринимать повседневность. Словом, все то, что в тайном доносе на журнал было обозначено как «распространение духа свободомыслия» и стремление к «гнусному» подражательству Западу. Однако Киреевский, несмотря на то что находился под большим впечатлением от тесного знакомства с западной наукой и

философией, вовсе не становился адептом западного мировоззрения и тем более либеральных взглядов, чего так опасался граф Бенкендорф. Киреевский всегда интересовался поиском аутентичной для России национальной идеологии и просветительской методологии, ни о каких революциях он даже и немышлял.

Киреевский мыслил парадоксально. В самом начале своей статьи он говорит о том, что в современном ему обществе живут одновременно люди из разных исторических эпох, и это происходит не в силу каких-то демографических различий, а оттого, какую культуру истинны они принимают. В силу этого познать «дух времени» очень сложно,

прежде всего потому, что «изменение господствующего направления» никогда ранее не совершалось столь быстро и столь решительно.

Конец XVIII века был ознаменован борьбой старых воззрений и новых требований времени, а посему был разрушительным для господствующего направления мысли. Тогда три «электрических слова» потрясли умы — свобода, разум, человечество. Эта же разрушительная волна породила впоследствии в Европе потребность в «успокоительном равновесии». Именно последнее и предопределило, по мысли Киреевского, весь «дух» XIX века⁴⁰. Но как исторически получилось, что все эти три понятия захватили коллективный ум европейцев? Ответ Киреевского однозначен: благодаря просвещению и традициям европеизма. Так почему же этого не происходит в России? А вот в ответе на этот вопрос Киреевский резко отходит от универсалистских моделей понимания и объяснения просвещения как длительного исторического процесса и закладывает «первый камень» в фундамент будущего славянофильства: «образовательное начало» в России заключалось в церкви, в то время как в Европе характер образованности отличался «перевесом рациональности». Европа, исходящая из нового «убеждения», устраняла старый порядок. Россия же опирается на свои традиции и находится на гражданском и философском распутье. В ее истории и культуре нет ни наследия античного мира, ни римского права, ни энергичного, творческого и авантюристического начала, свойственного европейцам Возрождения, ни классической философии Нового времени, ни длительного периода накопления опыта на-

чального и общего образования. Словом, *ничего того, что способствовало бы ее гармоничному участию в универсальном европеизме* и, по выражению Киреевского, «всемирной прогрессии ума»⁴¹.

Однако ведь и Россия вступила на путь просвещения по крайней мере после очень непростых и жестких, но все же необходимых по своей сути петровских реформ. Так каковым же в результате стало просвещение в России? И в этот момент Киреевский предлагает читателям решительно различать *два типа просвещения*: «самобытное» и «заимствованное»⁴². Он сам, очевидно, внутренне симпатизируя первому, выражал тогда еще только скептическое сомнение в эффективности и адекватности второго. Позже он примет более последовательную негативную позицию в отношении просветительских заимствований.

Изначально в группе единомышленников, сложившейся позднее вокруг «Европейца», кипели идейные страсти, а постоянные споры затягивались на долгие месяцы. Большинство молодых людей были скорее западниками, и, пожалуй, только один Хомяков отстаивал принципы «самобытной» философии и идеологии, как и право народа на «самобытное развитие»⁴³. В течение долгих годов вынужденного молчания Киреевский продолжал работать над темой аутентичности российского просвещения. И ровно через 20 лет после закрытия «Европейца» пишет странное письмо графу Е.Е. Комаровскому, с которым его связывали десятилетия дружбы. Письмо было опубликовано им в 1852 году. Его, пожалуй, можно считать главным идейным манифестом Киреевского и, учитывая ско-

рую после этого кончину автора, своего рода мировоззренческим завещанием потомкам. Сам текст позднее был титулован, как и его ранний очерк «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России»⁴⁴.

Свое письмо Киреевский начинает с жесткой констатации актуального момента исторического времени (самая середина XIX века): мало есть вопросов более значимых, чем отношение русского просвещения к западному, утверждает он. И «от того, как он разрешится в умах наших, зависит не только господствующее направление нашей литературы, но, может быть, и направление всей нашей умственной деятельности, и смысл нашей частной жизни, и характер общежительных отношений»⁴⁵.

Киреевский был убежден, что до него этот вопрос решался просто: выяснялась разница в степени образованности и глубине просвещенности народов, и как на этот путь встала Россия, приняв роль *наставляемого на путь истинный*. Как только «мы начали подражать Европе, бесконечно опередившей нас в умственном развитии... оттого там учителя, мы ученики». Такое разрешение проблемы виделось ему глубоко ошибочным и недостойным, поскольку суть прежде в характере, духе и основных началах образованности и просвещенности. Ибо кроме «западного» есть и самобытное «европейско-русское» просвещение⁴⁶. Разница между ними не только в смыслах, но и в долгосрочных последствиях.

Европейское просвещение к середине века достигло «полноты развития», но оно же породило «чувство недовольства и обманутой надежды». Но не в силу утраты жизненности, а от «безот-

радной пустоты», что легла на сердца людей. «Торжество ума европейского обнаружило односторонность его коренных стремлений... и при всей громадности частных открытий и успехов в науках общий вывод из всей совокупности знания представил только отрицательное значение для внутреннего сознания людей... самая жизнь лишена была своего существенного смысла»⁴⁷. Это размышление Киреевского, пожалуй, со второй половины XIX века становится по большому счету искомой точкой отсчета для всего последующего русского антизападнического мировоззрения, в том числе для теории и практики гражданского просвещения в России. Славянофилы в этом манифесте получили важное для их публичного присутствия методологическое обоснование: самовластвующий рассудок Запада не признает ничего, кроме себя и своего личного опыта, и для человеческих смыслов и коренных начал в итоге становится губительно разрушительным!

Западный человек, по мысли Киреевского, не сразу ощутил чувство безнадежности и недовольство, а в результате явного торжества разрушительной рассудочности, самонадеянного упоения от веры в собственный отвлеченный ум и желания создать для себя новую разумную жизнь. Кровавые опыты и частные страдания не разочаровали его самоуверенности, но тем не менее «силою собственного развития» он все же «дошел до сознания своей ограниченной односторонности»⁴⁸. Лишь немногие в России увлеклись наружным блеском безрассудных систем Запада, обманувшись «искусственным благообразием их гнилой красоты», большинство же, «убедившись в неудовле-

творительности европейской образованности, обратили внимание на свое, на те особенные начала просвещения, не оцененные европейским умом, которыми прежде жила Россия и которые теперь еще замечаются в ней помимо европейского влияния»⁴⁹.

Этим философским «разворотом» России вовнутрь себя Киреевский объясняет внезапный рост интереса к собственной истории, научным исследованиям, открытию источников и, главное, масштабному включению истории в просветительские программы. Вдруг «обнаружилось», что «безусловное пристрастие к западной образованности и безотчетное предубеждение против русского варварства заслоняли от них разумение России». Иными словами, западное просвещение было и есть не более чем обаятельный предрассудок и ослепление, а пробуждение от оногo «удивляет своей неожиданностью». Киреевский предельно кратко и четко выразил смысл просветительского противостояния в стране и вызванного появлением мыслителей, не разделявших западного «направления», а обращенных вовнутрь себя и вглубь истории отечества, открывая те стороны духа, которые, как полагал Киреевский, не находили «ни места, ни пищи в западном развитии ума»⁵⁰.

При этом, не повторяя шаблонных «истин» старших славянофилов, Киреевский признает, что русские просветительские основы обнаружить и тем более выразить не так просто, как западные. Европа высказалась вполне, а вот Россия на протяжении последних веков постоянно прерывала путь своего аутентичного просвещения. А посему не смогла его уберечь, досказать во всей полноте, вскрыть его подлинные

смыслы всему обществу. Но сделать это тем не менее будет крайне необходимо.

Киреевский без колебаний указывает на главную отличительную черту всего европейского просвещения: всеобщность и универсализм. Он, разумеется, видел частные и исторические особенности в эволюции европейских стран, но они все испытывали духовное влияние единства, базирующегося на европейском христианстве, наследии классической античности, римской модели государства и права. Именно история, принятая в качестве просветительской науки, помогает нам понять, по мысли Киреевского, специфику европейского сперва языческого, а после — христианского и рационального просвещения. Ибо она выступает важнейшим *дифференцирующим фактором гражданского сознания европейца*.

Почему же в России мы этого не видим? Прежде всего потому, полагал Киреевский, что Россия исторически развивалась совершенно по-иному, несмотря даже на то, что входила в греко-римскую ойкумену, всегда была имманентной частью вселенской церкви, а с XVI века включилась и в мировую политику. Древняя языческая образованность, а вслед за ней и христианское учение естественным образом влились в культуру России, причем и то и другое не встретило у нас культурного сопротивления, как в европейских странах, унаследовавших римскую образованность. Позднее рациональное просвещение, пришедшее в самой Европе на смену древнему наукообразию, даже будучи систематически заимствованным в постпетровские времена в Россию, по сути, не затронуло глубин русского общества, позволив стране со-

хранить свои самобытные корни. А оттого умственное развитие России не испытало на себе всеобъемлющего влияния ни римской, ни более ранней языческой образованности.

Но не являлись ли эти отличительные черты в разных путях просвещения Европы и России поверхностными или просто делом случая? Категорически нет! — таков вердикт Киреевского. Пытаясь найти логическую аргументацию к этому тезису, он с философско-исторической точки зрения противопоставляет «римский ум» «православно-славянскому». В первом «...наружная рассудочность брала перевес над внутреннею сущностью вещей», случайный закон — над нравственными отношениями, «стройность грамматических конструкций» над естественной свободой и живой непосредственностью душевных движений, логическая формальность законов над «внутренней справедливостью», внешняя деятельность человека над его внутренними смыслами⁵¹. Соответственно в России все диаметрально противоположно.

Замечу попутно, что Киреевский, разведя обе цивилизации, не позволяет себе ни снисходительного отношения к «римскому уму», ни его моральной критики, дабы показать духовное превосходство русского просвещения, как поступали многие его современники и коллеги по славянофильскому единомыслию. Напротив, он постоянно указывает на величайшие достижения западного мира, но при этом тотчас же делает шаг в сторону, вновь и вновь утверждая глубинное и непреодолимое различие двух цивилизационных путей. Хоть мы и не обнаруживаем в текстах Киреевского самого словосочетания «особый путь», но, по сути,

пишет он именно об этом на базе глубокого знания истории и философского проникновения в интеллектуальные смыслы прошлого. Он искренне верил, что присущая западному просвещению логическая связность, работа с понятиями, рассудочные силлогизмы, наружное единство людей, сословий, духовной и светской власти — все это свойства исторически преходящие, ведущие «римский ум» от одного чувственного переворота к другому, прерывавших нить преемственности, и которые *ведут западное просвещение в никуда*. Ибо «таков закон уклонения человеческого разума: наружность блеска при внутреннем потемнении»⁵².

Какой же может быть главный просветительский «урок» для «русского ума», извлеченный им из глубокого знания западной истории? Ответ Киреевского: «История европейских государств хотя представляет нам иногда внешние признаки процветания жизни общественной, но в самом деле под общественными формами скрывались постоянно одни частные партии, для своих частных целей и личных систем, забывшие о жизни целого государства»⁵³. Одним словом, просветительский нарратив славянофилов и их главные постулаты были окончательно сформулированы Киреевским именно в этом удивительном письме. С незначительными коррективами и добавками они будут многократно впоследствии повторены, причем не только младшими славянофилами, но и многими передовыми мыслителями второй половины XIX века, подобно Н.Я. Данилевскому (1822–1885) в его учении о культурно-исторических типах. Если попытаться все же кратко резюми-

ровать целостную мысль Киреевского, то мы получим эвристичный, тщательно продуманный и искусно сконструированный продукт, который можно использовать как удобную «модель для сборки» в любом по степени радикализма антизападническом просветительском дискурсе. Россия — это отдельная цивилизация (словосочетание «особый путь» появится позже). Ее история уникальна, а ее образованность нельзя оценивать по чисто «рассудочным» стандартам западного рационализма. Запад

сконцентрирован на логике и умственном знании, Россия — на вере и внутренних смыслах. Гражданское общество европейских стран формализовано поверхностно и регламентируется по правилам и этикету; российское — по собранности, внутреннему чувству причастности, смиренному сочувствию людей друг к другу, вере в общее дело. Государство и «народ» в первом случае «ошибочно» разделены, во втором — естественно слиты.

Развить этот нарратив не сложно, если включить фантазию, но важно понимать при этом, что буквально все отечественные антизападнические доктрины, включая ранние большевистские и более поздние советские, строились на этом интеллектуальном фундаменте и поэтому философски слабо различимы. Они допускали критику status quo у себя (и поэтому не были чисто «охранительными»), но вслед за Карамзиным и Уваровым, старшими и младшими славянофилами, исходили из незыблемости русской идентичности, а также ее якобы «молодости» в противовес

«старому и дряхлеющему Западу», патологически страдающему, по мысли Киреевского, «перевесом рассудочности» и «слепотой к живым истинам»⁵⁴. Из всего этого вытекает, что главный философский вектор гражданского просвещения в России должен быть на-

Антизападничество Киреевского строилось на категорическом неприятии принципов и ценностей универсализма и европейской рациональности. Но ведь на этих постулатах антизападничество в России зиждется и поныне!

правлен на поддержание идентичности, недопущение культурных или институциональных заимствований, способных поколебать первоосновы страны. Отечественное прошлое во всех подобных учениях становится главным инструментом *пророссийской просветительской проповеди*, отвергающей всеобщность современного общества и культуры, принципы универсализма и европеизма в целом. Критикуй российскую актуальность, но гордись своей историей, какой бы она ни была! Таков, по сути, девиз славянофилов всех мастей, тщательно продуманный и умело выразивший осознанную и отчасти подслеповатую апологетику с умеренно критическим подходом, что впоследствии оказалось для «русского ума» самым привлекательным и притягательным культурным «продуктом», репрезентирующим русское прошлое, настоящее и будущее.

Киреевский, восхищенный историческими трудами многих своих современников, в том числе профессора С.П. Шевырева, автора «Истории русской сло-



Ив Танги. Без названия-2. 1947

весности» (1846), решительно настаивал на высокой языческой и раннехристианской образованности на Руси, ничуть не уступавшей, а, по его мнению, даже скорее превосходившей европейские стандарты того времени. Он полагал, что единство «русского ума» и «русского быта» предопределено исторически и в отличие от Запада основано на *неразделенности* интеллекта, нравственности и веры. Эту неразделенность он ценил превыше всего остального, будучи абсолютно уверенным в том, что именно нравственные установки и понятия, видоизмененные после крещения Руси, преобразили все общественное устройство, «общежительные отношения» и создали в конечном итоге русско-православную цивилизацию. Ее познание потомками необходимо и возможно лишь с помощью самобытного русского просвещения, несущего аутентичную историческую доксу россиянам всех сословий и положений.

Итак. Свое главное *просветительское послание* Киреевский сформулировал следующим образом: «...русское общество выросло самобытно и естественно, под влиянием одного внутреннего убеждения, церковью и бытовым преданием воспитанного... потому именно — в нем не было и мечтательного равенства, как не было и стеснительных преимуществ... оно представляет не плоскость, а лестницу, на которой было множество ступеней; но эти ступени не были вечно неподвижными, ибо устанавливались естественно, как необходимые сосуды общественного организма, а не насильственно, случайностями войны, и не преднамеренно по категориям разума»⁵⁵.

Как видим, историческая докса в трактовке Киреевского и вслед за ним боль-

шинства славянофилов строилась в первую очередь как *просветительское конструирование образа* естественного, без внешних вмешательств, самодостаточного и самобытного, а главное — основанного на христианской вере, а не на принципах рациональности, исторического проекта. России были свойственны, согласно Киреевскому, натуральные, простые и единоклюнные отношения и законы. Они не были ни «формальными», ни искусственными. И происходили из бытового предания (традиции) и внутреннего убеждения (православное христианство). Русская культура всегда была ориентирована на внутреннюю, а не на внешнюю правду, предпочитая иррациональную справедливость «буквальному смыслу формы», святость предания — логическому выводу, а нравственность — внешней пользе. Иными словами, антизападничество Киреевского строилось на категорическом неприятии принципов и ценностей универсализма и европейской рациональности. Но ведь на этих постулатах антизападничество в России зиждется и поныне!

Киреевский и старшие славянофилы, конечно же, в своих просветительских целях *изобретают историческое прошлое*. По сути, они идеализируют то, чего, вероятно, никогда и не было, поскольку их историческая картина строилась на жесткой контрастности России и Запада, как альтернативных векторов эволюции. И если некое устойчивое социальное знание более или менее четко привязывалось к наследию западной цивилизации (право, собственность, политические институты, социальные отношения, ценности, этика), то, значит, в России *все это же должно было быть иначе, а скорее*

даже противоположным по сути и значениям. Они свято верили в объективированную реальность сконструированного ими же образа русской истории, как верили в него все следующие за ними поколения отечественных антизападников. Причем всякое научное сомнение в подлинности этих образов они тотчас же идентифицируют как фальсификацию или «пересмотр» истории. Но разве не эту же ментальную особенность русской мысли чутко уловил маркиз де Кюстин, когда рассуждал об «особенно» русском отношении к факту?

И, пожалуй, самое главное: эта историческая квазидихотомичность оценивалась Киреевским и славянофилами прежде всего в оценочных категориях «добра и зла». Несложно догадаться, что соответственно их нравственной логике олицетворяло собой добро, а что зло. И если все же проникали в Россию западные нравы извне, то воспринимались славянофилами скорее как «зараза от соседей». Даже заимствование политэкономии Киреевский считал «чуждым» для России, поскольку воспринимал ее буквально как «науку о богатстве», плохо укладывающуюся в русло русских «духовных» традиций.

Таким образом, старшими славянофилами был заложен фундамент извечного дискурса об отличии русского и европейца. И надо заметить, что именно этот дискурс, как ранее в царской России, так и сейчас, по-прежнему имеет антипросветительскую направленность, потому что исторической реальности Запада противопоставляются *фантомные конструкты* русского исторического прошлого, ее культуры и «особого» цивилизационного пути.

Не удивительно поэтому, что Киреевский, говоря об актуальности для своего времени самобытно русского просвещения, отвергает всякую возможность осуществления его на основе чуждого, одностороннего и проникнутого западными «любомудрием» и понятиями анализа исторического и социального материала. Русская стезя — «чистые источники» святой веры и отечественного быта. Так и только так «русский ум» сможет уберечься от европейского самосознания и развить в себе «другую образованность», самобытную науку и искусства, философию и просветительскую историю⁵⁶.

Впрочем, Киреевский был мудрее и гораздо дальновиднее многих своих единомышленников и последователей. В завершение своего знаменитого письма он, как бы отрицая все им же вышесказанное, делает важное для себя и своих читателей *просветительское откровение*. Иронизируя над наивно-прямолинейным славянофильством, он абсолютно серьезно пишет, что если ему и приснилось бы во сне возрождение давно погибших общественных или культурных обычаев русской старины, то «это видение не обрадовало бы меня», а, напротив, «оно испугало бы меня». Проникновенная мудрость Киреевского выражена одной важной фразой: «перемещение прошлого в новое, отжившего в живущее» — большая глупость и опасное заблуждение.

А посему, намекает Киреевский, европейское просвещение в России вовсе не следует вытеснять, просто надобно придать ему большую цельность, полноту и высшие смыслы, инкорпорируя в историческую доксу русской святости и самобытности духа. Отказался ли

он тем самым от того, что сам исповедовал? Разумеется, нет. Но предостерегает современников и потомков от примитивного и искаженного толкования своего учения. Хотя, правда, сам довольно часто не удерживал этот хрупкий когнитивный баланс.

В отделе рукописей Государственной библиотеки имени В.И. Ленина хранится рукопись, написанная рукой Киреевского и адресованная его другу графу С.Г. Строганову, датированная 1839 годом. Список титулован в привычной для того времени манере: «Записка о направлениях и методах первоначального образования народа в России»⁵⁷. В ней он размышляет об амбивалентности образования и вводит впервые в истории русского гражданского просвещения необычный аналитический угол зрения. Киреевский пишет о «пользе» и «вреде» обучения. Если первое очевидно для каждого, то значения и последствия второго сокрыты от простого разума. И в этом необходимо глубоко разбираться, считал молодой Киреевский.

Обретенные народом знания и понятия могут оказаться неистинными. Вера столкнется с многосложностью и колебаниями. Свободная мораль загубит старые и добрые нравы. Состояние невежества может обернуться на поверку всего лишь безграмотностью. А большее познание законов не умножает законности. Все эти и схожие с ними философские сомнения гражданского просветителя отнюдь не праздные и тем более не эквилибристика ума. Поскольку если некоторые из этих утверждений на поверку оказываются верными, то и последствия могут стать губительными для страны. Однако, как рассуждал Киреевский, избежать «зла», производимого

обучением и возможностями будущего усовершенствования человека, не удастся все равно, так же как и выбор в пользу невежества будет для его сторонников неутешительным.

К сожалению, констатирует Киреевский, невежество в России не спасает низшие классы от разврата, «каково бы ни было наше мнение о прежней образованности нашего народа... а недвижимость умственная не сохранила народ от упадка нравственного». Но все же главной причиной наблюдаемого в стране кризиса стала «ложность просвещения высшего класса и ложность отношений этого просвещения к народу»⁵⁸. Этот последовательно продвигаемый славянофилами впоследствии тезис в отечественной мысли сформулирован Киреевским впервые.

Он настойчиво проводит мысль о том, что простое распространение грамотности не даст обществу желательного и позитивного вектора развития. Первоначальное обучение должно предполагать не просто ликвидацию глубокого невежества низов, но и изменение «общего направления умов», укрепление ценностных убеждений и основ веры. По сути, Киреевский говорит о гражданском воспитании, истолкованном им как умственное движение «сверху вниз», от высших слоев к низшим. А поскольку ожидать того, что светское просвещение пробьется сквозь всю толщу народной массы, не приходилось, то Киреевский оставляет населению страны лишь одну возможность — «познание веры» «не есть только знание», но и «убеждение, связанное с жизнью и... дает особенный склад всем другим мыслям и понятиям, определяет поступки», оно «не может быть вредным, но при неко-

торых обстоятельствах могло бы быть еще полезнее»⁵⁹.

Иными словами, он видел прогресс все же не как *результат светского просвещения, а скорее как осязаемый продукт духовного просветления*. Тем самым он заложил философский фундамент славянофильского мировоззрения: «особый путь» России через духовное просвещение и *христианский универсализм*, а не через светское просвещение и *гражданский универсализм*. Собственно, в этой «Записке» и содержится ключ к пониманию того, почему Россию «аршином общим не измерить», в нее «можно только верить».

Как и в более поздних текстах Киреевского, уже и в этой «Записке» мы видим сложного и неоднозначного по мысли философа. Будучи реалистом, он прекрасно отдает себе отчет в том, что в прошлые времена, когда в России набожность была куда сильнее, чем в николаевское время, тем не менее народ оставался абсолютно невежественным. В XIX столетии — время массового распространения неверия в империю, — когда под влиянием лютеранских стран Россия приступила к общенародному преподаванию христианских догматов, важно было, согласно Киреевскому, не соблазниться простым заимствованием западной модели просвещения на основе только «чистого разума», пренебрегая таинствами веры и познанием духа и полагаясь только на материалистичность логических понятий. И все же Киреевский пишет об одновременности развития у народа и чувства веры и знания догматов, не противопоставляя одно другому, как, по его мнению, поступила Европа, приравняв богословие к другим логическим наукам. Впрочем, этот акцент на

духовном познании вовсе не мешал Киреевскому пропагандировать важные практические и общеобразовательные дисциплины, прежде всего историю и географию, а в области общественной — обучение правам и обязанностям граждан.

Однако здесь ему на помощь вновь приходит отечественное прошлое в виде древнеславянского языка, на котором, полагал Киреевский, не было написано ни одной «вредной» книги. Через обязательное овладение этим языком молодые люди научатся понимать аутентичные смыслы русской культуры и выражать их адекватными словами и понятиями. Так же и преподавание истории не должно полагаться только на одно запоминание, у детей надобно развивать память «оживленным воображением, соображением и до некоторой степени сочувствием»⁶⁰. Такой подход отчасти сближает его с западником Белинским. Общие основы политэкономии Киреевский также советовал изучать с «необыкновенной осторожностью... ибо здесь каждая мысль парадоксальная или даже сомнительная может иметь видимо вредное влияние... постоянно имея в виду ту истину... что главная пружина богатства есть кредит, а главная пружина кредита есть нравственность и что источник всего этого есть труд» (весь курсив — *И. К.*)⁶¹.

Подводя итог своим размышлениям, Киреевский в заключение своей «Записки» вновь акцентирует главную педагогическую идею славянофильского мировоззрения: в народном просвещении следует стремиться к *развитию чувства веры и вытекающей из нее нравственности преимущественно перед распространением рационального знания*. Лучшее средство движения к

этой цели, повторяет он снова, есть изучение древнеславянского языка, укрепляющего народные понятия, минимум практических знаний и христианская нравственность. Таким логическим выводом система гражданской пропедевтики была завершена Киреевским как стратегически, так и тактически. И если вы принимаете ее целиком и полностью, то никакими деталями, обновлениями или редактурой, для соотнесения системы с меняющимися временами и обстоятельствами в стране и мире, вам не удастся вырваться из этого замкнутого и «самобытного» философского круга антизападнического мышления.

Киреевский был, безусловно, чрезвычайно оригинальным мыслителем, хотя многие видели в нем одного из «отцов-основателей» русского консерватизма и почвенничества. И совершенно зря. Киреевский понимал духовно-институциональные начала в российском обществе и культуре только как исторический проект, а не как законченный результат, к которому существует только один путь — постоянный «возврат» в прошлое⁶². Он не разделял однобокие и прямолинейные воззвания большинства славянофилов к ретроградному возрождению наивных общественных принципов допетровского архаизма. Более того, всегда в своих текстах указывал на важность конституционной реформы и других демократических преобразований в стране, критиковал деспотически-крепостной status quo, правда так и не

принял ценности и нормы рационального универсализма, отстаивая абсолютную самобытность русско-православной цивилизации.

Самодержавную власть в российской империи все это, разумеется, настораживало и пугало. Даже присутствие в

Политэкономия Киреевский советовал изучать с «необыкновенной осторожностью... постоянно имея в виду ту истину... что главная пружина богатства есть кредит, а главная пружина кредита есть нравственность и что источник всего этого есть труд»

его сочинениях и письмах откровенно антизападнических высказываний и настроений, которые он выражал то открыто, то неявно, для «охранителей» не меняли сути дела. Киреевский не пришелся ко двору в силу, как тогда изъяснялись, своего «неблагомыслия». Он прожил короткую жизнь, не дождавшись публикации ряда своих фундаментальных трудов, а все посмертные издания его сочинений сыграли важную роль для развития отечественной традиции самобытного просветительства, хотя, очевидно, всегда вели гражданское общество «в никуда», переживая один государственный крах за другим. Шли десятилетия, менялась жизнь, а русская мысль на каждом витке своей эволюции вновь и вновь возвращалась к откровениям старших славянофилов, порой даже не подозревая, кому они интеллектуально обязаны своими якобы оригинальными идеями.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Шпет Г.Г. Сочинения. — М.: Изд-во «Правда», 1989. — С. 44.
- 2 Сменившему графа Уварова на посту министра просвещения князю Ширинскому-Шихматову приписывают анекдотическое высказывание, которое, правда, очень точно отражало просветительское целеполагание позднениколаевской эпохи: «...польза философии не доказана, а вред от нее возможен» (цит. по: Шпет. Ук. соч. С. 260). Опасалась ли власть философского рассуждения? Вряд ли. Очевидно, что боялась она именно свободной философии. А раз ее допустить нельзя, то проще вовсе уничтожить. Что и делало государство на протяжении всего периода правления Николая I. Уваров еще надеялся поставить философию на службу государственным интересам, но тщетно. А Ширинский-Шихматов и вовсе запретил ее в 1850 г. во всех университетах империи.
- 3 Книга по-русски издавалась малыми отрывками до революции, а при советской власти — лишь сокращенно (1930). Первое полное, академическое издание с подробными комментариями вышло в свет в двух томах только совсем недавно. См.: де Кюстин А. Россия в 1839 году (основной том). — СПб.: Книга, 2008.
- 4 Всем интересующимся биографией маркиза и текстовым анализом его сочинения я рекомендую книгу блестящего знатока творчества де Кюстина. См.: Кеннан Дж. Ф. Маркиз де Кюстин и его «Россия в 1839 году». — М.: РОССПЭН, 2006. Оригинальное издание вышло в свет в Америке полвека назад (1970) и, несмотря на успехи современных историков, сильно продвинувшихся в толкованиях и понимании сочинения маркиза, остается поныне удивительным образцом историко-биографического исследования. Я далее буду апеллировать к идеям, почерпнутым в том числе и у Кеннана.
- 5 Все последующие цитаты взяты из 15-го письма и сделаны по указанному выше изданию: С. 216–239.
- 6 Там же.
- 7 Там же.
- 8 Кеннан Дж. Ук. соч. С. 82.
- 9 В том же 15-м письме он пускается в пространные рассуждения по поводу лжи в политике: «У меня есть одна навязчивая идея: я думаю, что людьми можно и должно управлять без обмана. Если в частной жизни ложь — низость, то в жизни общественной — преступление, причем преступление обязательно неуклюжее. Всякое правительство, если оно лжет, — более опасный заговорщик, чем убийца...». Тема «неправды» красной нитью проходит через все сочинение. Де Кюстин, очевидно, был сконцентрирован на ней не случайно. Он равным образом критикует и эгалитарную демократию, и тиранию за свойственную обоим режимам публичную ложь. Впрочем, он так и не обнаружил действенного противоядия этому политическому «недугу».

- 10 Так, К.С. Аксаков (1817–1860) в своей записке «О внутреннем состоянии России», написанной в середине 1850-х гг., констатирует в стране состояние внутреннего разлада, «прикрываемого ложью» (Аксаков К.С. ПСС. — Москва, 1888. Т. I. С. 620). Так тогда действительно полагали многие общественные деятели. И я не думаю, что только под влиянием сочинения де Кюстина. Ложь в имперской политике при Николае I была настолько откровенной и неприкрытой, что диагноз о «торжестве» лжи можно считать для отечественной мысли банальным.
- 11 Кеннан. Ук. соч. С. 85.
- 12 15-е письмо.
- 13 Многие и весьма популярные в свое время исторические пособия принадлежали перу С.Н. Смаградова (1805–1871): «Руководство к познанию древней истории» (1840), «Руководство к познанию новой истории» (1841), «Краткое начертание всеобщей истории» (1845). Были и другие пособия, в частности И. Кайданова и Н. Устрялова, но о них речь пойдет далее. Подробнее об организации школьных курсов по истории, идеологии и методах ее преподавания в первой половине XIX века см.: Студеникин М.Т. Становление и развитие школьного исторического образования в России XVI — начала XX в. — М.: Прометей, 2011.
- 14 Шпет Г.Г. Ук. соч. С. 53.
- 15 Там же. С. 120.
- 16 Подробнее об исторических воззрениях Белинского см.: Иллерицкий В.Е. Исторические взгляды Белинского. — М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1953. Книга изобилует коммунистическими штампами относительно царизма, буржуазного строя и, конечно же, о самом Белинском, в котором автору в соответствии с партийными установками «хотелось» видеть истинного «революционера».
- 17 Белинский В.Г. Избранные педагогические сочинения. — М.: Педагогика, 1982. — С. 135. Подробнее о творчестве Белинского см.: Истинный рыцарь духа. Статьи о жизни и творчестве В.Г. Белинского // Сост. И.Р. Монахова. Ред. Ю.В. Манн. — М.: Прогресс-Традиция, 2013.
- 18 Подробнее: Монахова И.Р. Гражданство небесное и земное. Гоголь и Белинский о путях развития России // Истинный рыцарь духа. С. 376–397.
- 19 Перу Белинского принадлежит корпус из приблизительно 20 рецензий на исторические сочинения, все они разные по объему и задачам. Самые яркие из них собраны в упомянутой выше книге: Белинский В.Г. Избранные педагогические сочинения. Все дальнейшие ссылки будут даны по этому изданию.
- 20 Белинский В.Г. Ук. соч. С. 33.
- 21 Там же. С. 33–34.
- 22 Там же. С. 185.
- 23 Там же. С. 188.
- 24 Там же. С. 188.
- 25 Там же. С. 190.

- 26 Там же. С. 191.
- 27 Там же. С. 192.
- 28 Там же. С. 192–193.
- 29 Там же. С. 195.
- 30 Там же. С. 196.
- 31 Шпет Г.Г. Ук. соч. С. 120.
- 32 Герцен А.И. Сочинения в 2 т. Т. 2. — М.: Мысль, 1985. — С. 145.
- 33 Сравнительный анализ их взглядов см.: Тихонова Е.Ю. Белинский и славянофилы о русской действительности / Истинный рыцарь духа. С. 319–342.
- 34 Тихонова Е.Ю. Ук. соч. С. 333–336.
- 35 См.: «Общая тетрадь». 2018. № 3–4 (75).
- 36 Мысли Аксакова о просвещении и роли истории в нем разбросаны по разным статьям, собранным недавно в одном томе его общественно-политических сочинений: Аксаков К.С. Государство и народ. М.: Институт русской цивилизации, 2009.
- 37 Первое собрание сочинений Киреевского вышло вскоре после его смерти (М., 1861), но полное издание было осуществлено под редакцией М.О. Гершензона в 1911 году в 2 томах Издательством Московского университета. Все публикации советского времени были выборочными и отчасти даже подцензурными. См.: «Европеец». Журнал И.В. Киреевского. 1832 / Под ред. Л.Г. Фризман (Литературные памятники). — М.: Наука, 1989; Киреевский И.В. Критика и эстетика / Ред. Ю.В. Манн. — М.: Искусство, 1979; Киреевский И.В. Избранные статьи / Под ред. В.А. Котельникова. — М.: Современник, 1984. Обновленное и дополненное собрание сочинений братьев Киреевских увидело свет в XXI столетии: Киреевский И.В., Киреевский П.В. Полное собрание сочинений. В 4 т. — Калуга: Гриф, 2006. Труды по религиозной философии вышли недавно отдельным томом (М.: Институт русской цивилизации, 2007). Глубокое исследование взглядов и наследия Киреевского см.: Судаков А.К. Философия цельной жизни. Миросозерцание И.В. Киреевского. — М.: Канон, 2012.
- 38 Фризман Л.Г. Иван Киреевский и его журнал «Европеец» // Европеец. Журнал И.В. Киреевского. С. 398.
- 39 Там же. С. 428.
- 40 «Под свободой понимали единственно отсутствие прежних стеснений; под человечеством разумели единственно материальное большинство людей... царством разума называли отсутствие предрассудков или того, что почитали предрассудками» (курсив — И.К.). См.: Киреевский И.В. Деятнадцатый век // «Европеец». Журнал И.В. Киреевского. С. 9.
- 41 Там же. С. 311.
- 42 Об этом он пишет во второй части своего очерка «Деятнадцатый век», опубликованный во втором выпуске «Европейца» в том же 1832 году. Принято считать, что недовольство императора вызвала именно первая часть, в которой Киреевский затронул политические вопросы и тем самым

перешел запретную «черту», ибо большой политики мог касаться только Николай I и узкий приближенный к нему круг сановников. Нередко выдвигалась догадка: если Николай I прочитал бы вторую часть, то не был бы столь непоколебимым критиком в отношении журнала и ее основателя. Но это маловероятно, ибо та роль, которую он отводил просвещению, уже была непозволительной крамолой для самодержца. См.: Фризман Л.Г. Иван Киреевский и его журнал «Европеец». С. 448.

- 43 Там же. С. 456.
- 44 Это письмо выдержало множество изданий до и после 1917 г., поскольку именно оно в наибольшей мере отражает мировоззрение старших славянофилов. Все дальнейшие ссылки будут сделаны по выверенному тексту в книге: Киреевский И.В. Критика и эстетика. — М.: Искусство, 1979.
- 45 Там же. С. 249.
- 46 Там же. С. 250.
- 47 Там же. С. 250–251.
- 48 Там же. С. 251.
- 49 Там же. С. 254.
- 50 Там же. С. 254–255.
- 51 Там же. С. 260.
- 52 Там же. С. 266.
- 53 Там же. С. 266.
- 54 Там же. С. 269.
- 55 Там же. С. 279.
- 56 Там же. С. 292.
- 57 Записка впервые опубликована на русском языке в кн.: Киреевский И.В. Критика и эстетика. С. 383–391.
- 58 Там же. С. 384–385.
- 59 Там же. С. 386.
- 60 Там же. С. 390.
- 61 Там же. С. 391.
- 62 Подробнее об этом см.: Судаков А.К. Философия цельной жизни. Ч. 2.



*Сергей Медведев,
профессор факультета
социальных наук
Высшей школы экономики,
журналист, политолог*

Войны памяти*

Рассказывать я буду о войнах памяти. Это одна из четырех тем моей книги, где я пишу о четырех войнах, которые ведет государство-Левиафан: война за пространство, война за символы, война за тело человека и война за память. И почти треть книги — война за память. И сейчас хочу рассказать о том, как я это вижу, и о том, как это неожиданно стало одной из главных территорий для споров. Ведь этого никто не мог предположить четверть века назад.

25 лет назад вышла статья Фукуямы «Конец истории». Это был своего рода интеллектуальный троллинг, вброс идеи о том, что история закончилась с концом коммунистической системы. Мы входим в мир утопии, и мировой дух, по Гегелю, является нам в виде современного либерального демократического государства.

Но если оглянуться на эти 25 лет, то ничего более неверного нельзя было сказать, потому что не прошло и полутора десятилетий, как у нас случилось 11 сентября 2001-го, сменилась повестка дня, с глобализации — на борьбу с терроризмом, возвратились старые большие нарративы — нация, почва, кровь, память. Началась так называемая эпоха памяти.

В качестве иллюстрации я выбрал мемориал жертвам Холокоста Питера Айзенмана в Берлине — более двух тысяч безымянных бетонных плит разной высоты на месте снесенного здания гестапо. Те, кто был в Берлине, знают, что мемориалов жертвам нацизма несколько. В том числе очень красивый мемориал убитым цыганам, замученным и убитым гомосексуалам; узникам психиатрических лечебниц.

Тоже, кстати, интересная тема. В качестве примечания могу сказать, как люди относятся к мемориалам. Были

* Выступление на семинаре в Сеговии (Испания) 31 мая 2019 г.

споры, в которых я тоже немного поучаствовал. Вроде бы такое скорбное место, место поминовения, но там делают очень «комичные селфи». Это одна из форм современной нарциссической культуры, в том числе и в России. Возможно, вы помните, как на Малой Земле под Новороссийском девочки танцевали тверк — это, собственно...

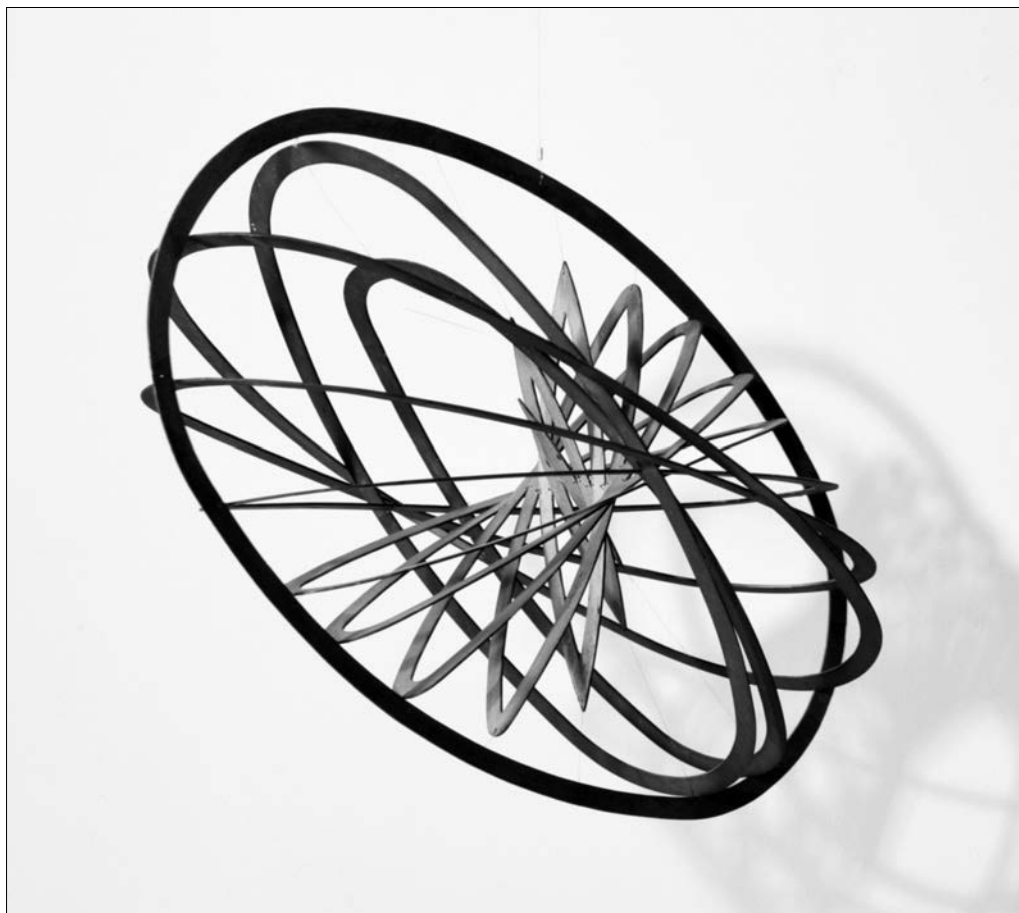
Эта тема попадает в сердцевину проблемы, о которой я хочу говорить, — проблемы исторической памяти. То, что происходит и происходило в России, — это не конец истории, а это именно что возвращение истории. Причем возвращение в гораздо более глубоком эмоциональном и индивидуализированном виде. Люди начинают раскапывать корни своей семьи. Сколько у меня знакомых, которые в последние 10–15 лет платят большие деньги за то, чтобы заказать генеалогию своей семьи. Они делают семейные альбомы, создаются сложнейшие семейные древа, уходящие иногда на 200 и 300 лет назад, вытаскиваются документы из архивов. Все это приметы времени.

К этому же феномену можно отнести и движение реконструкторов исторических событий, движение поисковиков. Что интересно, реконструкторы реагируют на события и принимают активное участие в политической жизни: на Майдане, в различных российских мероприятиях, связанных с Днем Победы. Так что реконструкция — это не просто хобби для людей, это в том числе политический проект. Можно сказать, что война в Донбассе сделана во многом руками «реконструкторов». В Донбасс отправился «реконструктор» Игорь Гиркин, он же Стрелков. В мае 2014-го реконструкторы сняли с постаментов и снабдили двигателем танк ИС-3 времен Великой Отечественной. И вроде даже им удалось реанимировать его пушку, из которой был произведен выстрел в сторону украинского блокпоста.

Еще одна черта мемориальной эпохи — культ наследия, критика различных официальных толкований истории, обсуждение юридических аспектов проблематики истории — реституции и люстрации, особенно в Восточной Европе. Работают государственные комиссии по памяти. Перед глазами у нас пример Южной Африки, где они работают с памятью апартеида. Там работала Truth and Reconciliation Commission (Комиссия правды и примирения), которая исследовала обстоятельства, связанные с апартеидом, и создавала условия для примирения.

Таким образом мы сталкиваемся с феноменом памяти, который является осью идентичности. Мы живем в эпоху идентичности, о чем много пишут современные социологи. Эпоха глобализации, казалось бы, стирает самобытность. Но у людей появляется запрос на базовые идентичности, и в раскопках этой идентичности человек натывается на различные слои памяти — своей собственной, культурной памяти нации, территориальной памяти мест.

Память становится важным политическим и гражданским проектом, формой гражданского протеста, формой солидарности и зоной риска.



Александр Родченко. Пространственная конструкция № 12. (ок. 1920)

Память становится и территорией конфликта, люди начинают вести войны за память. Первым об этом написал французский историк Пьер Нора, который еще в 80-е годы назвал нынешнее время «мемориальной эпохой» в своей знаменитой книге «Места памяти». И сам термин «место памяти» принадлежит ему. Он пишет о «всемирном торжестве памяти». Это было еще до падения Берлинской стены, но он это связывает с поздним периодом модерна, когда оканчивается период безудержной утопической глобализации, непрерывное расширение западной цивилизации. Во Франции, отмечает он, исчезает крестьянство как основа французской нации. И это отсутствие крестьянства создает лагуну в самом центре французского национального самосознания. Люди, пытаясь заполнить эту лагуну, обращаются к различным формам памяти.

Об этом же говорит Зигмунт Бауман, знаменитый социолог, скончавшийся в прошлом году. Его последняя книга под названием «Ретротопия» только что была переведена на русский. Он точно так же

характеризует современную эпоху как ретротопию, как постутопическое ретросознание. Это закат и коммунистической, и либеральной утопии. И в этом постутопическом мире люди начинают смотреть назад, появляются ретрополитика и ретросознание, но они не хотят лишиться мягкого кресла, которое утопии нам подарили. Тех, например, достижений социального государства, которые были во многом вдохновлены советским социальным экспериментом, открытых рынков, которые дала либеральная утопия. Ретротопия хочет, чтобы все было, как в прошлом, но без крови и страданий прошлого.

Об этом же пишет Светлана Бойм в своей книге «Будущее ностальгии». Она очень точно замечает, что эпидемии ностальгии случаются после революций. Она сравнивает это с французской Реставрацией в постреволюционный период и очень тонко замечает, что не только старый французский режим привел к революции, но и революция в том числе породила старый режим, придав его форме «золоченую ауру» (это ее определение).

То же самое произошло и с Советским Союзом. СССР как идеологический проект заново возник уже в XXI веке — в известных нарративах «величайшей геополитической катастрофы», которой обернулся распад империи в путинском воображении прошлого, когда Советский Союз вдруг стал «великой эпохой». У поколения 90-х годов не могло быть такого. Мы все родились в Советском Союзе и знаем, что это такое. Но когда пришло новое поколение, не знавшее Советского Союза, он предстал как утопия прошлого, очищенная от грязи и крови.

Таковы, в общем, теоретические рамки того, что Нора называет «торжеством памяти».

Началось все, наверное, на Балканах. Как раз в то время, когда Фрэнсис Фукуяма замыслил свою статью «Конец истории», на Балканах происходило самое что ни на есть кровавое возвращение истории. В 1989 году, еще до падения Берлинской стены, начинается сербское национальное возрождение. Тогда Слободан Милошевич, выступая на Дне Вдов на Косовом поле, призвал сербов защищать их землю. Есть легенда — после битвы с турками-османами 1389 года — о девушке, которая ходит по полю и ищет своего жениха среди убитых сербов. И вот появляется ностальгическая сербская национальная идея о том, что место рождения и трагедии сербской нации находится на территории Косово, которое контролируется албанцами. Это приводит к массовой национальной мобилизации косоваров, которая заканчивается первыми жестокими этническими чистками и боями со времен Второй мировой войны.

Таким образом, разморозка истории, которая на время была заморожена холодной войной и биполярным противостоянием, начинается с Балкан. Вытаивающие из мерзлоты исторические скелеты начинают тревожить всю Европу.

Здесь, недалеко от Сеговии, в Эскориале, есть Долина павших. Еще во франкистское время там построили мемориал жертвам гражданской войны, где захоронено 40 тысяч погибших с обеих сторон. Там могила Франко, там могила лидера фалангистов Примо де Риверы. Это важное место поклонения ультраправых. Это место в постфранкистское время было болезненной точкой испанского национального сознания. В 2007 году при социалистическом правительстве Фелипе Гонсалеса был принят закон об исторической памяти. В соответствии с этим законом в прошлом году было принято решение о перезахоронении праха Франко, которое должно произойти буквально через 11 дней. Перезахоронение намечено на 10 июня и очень интересно, как все это будет восприниматься. В этом смысле можно сказать, что гражданская война в Испании не закончена до сих пор*.

И это характерно не только для Испании. Около 10 лет назад я побывал в Италии на могиле Муссолини в Предаппио, в регионе Эмилия-Романья. Там культ дуче, туда приезжают паломники. Теперь его фамильный склеп закрыт для посещения. Я был впечатлен атрибутами фашизма, которые там продаются как сувениры. Понимаете, уже 70 лет прошло, а Италия не может примириться по поводу муссолиниевского прошлого. Что же говорить о гораздо более близком франкистском прошлом Испании?

В США идет война по поводу памятников конфедератам, памяти о Гражданской войне 1860-х годов. В период реконструкции, в 1880-е годы, было поставлено сотни памятников героям-конфедератам, прежде всего генералу Ли. И стояли они себе мирно и даже простояли эпоху Обамы. И тут приходит Трамп, и Америка становится радикально поляризована и политизирована в отношении граждан к своей истории. Реакцией на избрание Трампа становится в том числе борьба с памятниками. Вы, наверное, видели, что конфедераты выставляют посты, а полиция их разгоняет. Идут мини-войны по ночам под прицелами телекамер. В результате памятники демонтируются, потому что в рамках современного дискурса политкорректности и постколониализма они становятся неуместными. Похоже, что в очереди на снос могут оказаться и памятники рабовладельцам, которыми были отцы-основатели США, люди, нарисованные на американских долларах, — Вашингтон, Джефферсон, Джексон... Между прочим, кто создавал великую русскую литературу и культуру? Такие же, по сути, рабовладельцы — помещики.

События в Америке показали, что гражданская война и там не завершена. Оказалось, что эта память жива и может расколоть американское общество.

В Восточной Европе в последние десятилетия также открываются минные поля памяти. Вы, может быть, слышали о дискуссиях в Польше

* Захоронение так и не состоялось из-за протестов родственников Франко. — Прим. ред.

после выхода фильма Владислава Пасиковского «Колоски». Это фильм о братьях, которые после войны возвращаются из эмиграции в родную деревню и узнают, что в ней были уничтожены евреи с молчаливого согласия односельчан, было разграблено имущество. В результате конфликта с односельчанами одного из братьев убивают. Этот фильм расколол общество, был фактически запрещен в Польше, а режиссер был подвергнут гонениям.

Точно так же расколола литовское общество книга «Свои» Руты Ванагайте, в которой она исследует тему антисемитизма и участия литовцев в Холокосте. Долгие годы истина была закрыта нарративом жертвы коммунизма, оккупации Литвы Советским Союзом. Виктимный нарратив банализировал вопрос о том, как вели себя поляки, венгры, литовцы и другие по отношению к жертвам Холокоста. Этот пласт памяти начал сейчас подниматься и раскалывать восточноевропейское общество, где есть множество неразрешенных проблем: создание национального мифа, традиционного антисемитизма в Восточной Европе, праворадикального поворота в политике. В политике неожиданно прорастают «цветы зла» коллективной памяти.

Еще пример. Таллинский «Бронзовый солдат», перенос которого из центра города стал проблемой «деколонизации». Это была точка столкновения двух альтернативных образов памяти. С одной стороны, эстонского, для которого период Советского Союза был временем оккупации. С другой — русскоязычного населения Эстонии, для которого протест против переноса стал катализатором сопротивления и формирования группового нарратива. В 2007 году было принято компромиссное решение о переносе памятника на военное кладбище. Но вся эта история усилила раскол общества, умножила нерешенные проблемы взаимоотношений, прав русскоязычных, напряженных отношений с Россией.

Можно упомянуть и о том, что рассказывал вчера Михаил Минаков об украинском «ленинопаде», войне с памятниками Ленину. Она началась еще в 90-х годах, когда было снесено множество памятников на западе Украины, а вовсе не сейчас. В 2009 году был указ Ющенко об увековечивании памяти жертв голодомора на Украине. Но, конечно, все резко обострилось после Майдана в 2013 году и в 2014 году после аннексии Крыма и событий в Донбассе. К 2019 году снесено 4 тысячи из 5 тысяч памятников. Те, что остались, находятся на частных территориях, те, что оставались в публичных пространствах, как я понимаю, снесены.

Здесь те же проблемы, что и в Эстонии, но осложненные конфронтацией Украины и России: деколонизация, декоммунизация, российская оккупация части Украины. И здесь памятники Ленину стали фокусом сопротивления и формирования национального самосознания на грубой политической основе. Произошел перенос недоброй памяти о коммунистическом прошлом на скульптуры Ильича.

В самой России тоже все непросто. Я выбрал в качестве примера споры об Иване Грозном, которые больше двух десятилетий идут в Казани. Вы видите фотографию парня, который по статье «за разжигание национальной розни» был осужден на трое суток ареста за критику в соцсетях российской истории, и в частности взятие Казани Иваном Грозным. Что такое 1552 год?

Для России — это один из главных мифов основания государства, в честь которого стоит храм Василия Блаженного на Красной площади. Архитектура храма — это символическая карта взятия Казани, каждый купол посвящен определенной вехе похода Ивана Грозного на Казань. И что такое вообще для России взятие Казани? Это последний очаг сопротивления Золотой Орды. Россия пересекает Волгу и начинает свое безостановочное почти 500-летнее расширение в Евразии. Это начало экспансии России.

А что 1552 год значит для Казани? Это точка национальной трагедии. Это разрушение мечети Кул-шариф, самого города, это геноцид жителей города. В течение трех недель русские привязывали по три трупа к бревнам и сплавляли вниз по Волге, чтобы напугать Астраханское ханство ниже по течению. Вырезан и сожжен был фактически весь город. И в Казани уже не первый год идет дискурс о том, что необходима улица защитников Казани, нужно осуждение политики Ивана Грозного. И сейчас в связи с возвеличиванием роли Ивана Грозного в России разгорается спор. Это типичная история деколонизации.

Такая ситуация характерна и для Латинской Америки. Кто такой Колумб для Латинской Америки? Для Европы он в 1492 году положил начало Нового времени, эпохи великих географических открытий, открыл Америку. Кто такой Колумб для латиноамериканских государств? Он принес крах, катастрофу, гибель инков, ацтеков и др. С ним пришли европейские заболевания, порабощение и истребление латиноамериканских народов и т.д. День Колумба, который отмечается в некоторых странах, был кое-где объявлен днем национального траура, днем трагедии. Как видите, это довольно сложные темы, подвергающие сомнению легитимные исторические мифы.

Ну и, наконец, перейдем к современной России, где война за память идет особо болезненно. Хочу рекомендовать прочитать книгу Александра Эткинда «Кривое горе. Память о непогребенных», где он пытается разобраться, почему у России такие проблемы с исторической памятью. Он не первый, кто это делает. Чаадаев, которого он цитирует, наверное, был первым, кто сказал, что Россия — это страна беспамятства. Россия — это страна, в которой стираются воспоминания о прошлом. Эткинд пытается понять, как это произошло. В частности он рассматривает память о трагедиях XX века: о войне, о репрессиях, о сталинизме, о переселениях народов. Дело в том, что не только в официальных учебниках, но и в памяти людей всё это вытесненные из нее

события, вытесненная травма. Мы живем вокруг большой черной дыры и боимся заглянуть в нее. Россия живет на постоянном историческом болоте и не в силах расколдовать призраков. Для этого много причин, и одна из главных в том, что в России слаба публичность, сфера гражданской дискуссии. Пространство широкого публичного дискурса узурпировано государством. А государству обсуждение подобных проблем не нужно, потому что это путь к формированию сильных негосударственных нарративов, связанных с городом, с территорией, семьей, с самостоянием отдельной личности. И поэтому в России, пишет Эткинд, слабы формы твердой памяти. Твердая память — это институты:

*Российское общество расколото
не на правых и левых, оно особенно четко
расколото по отношению к репрессиям и
роли в этом Сталина*

памятники, конституционные акты, признанные формулировки в учебниках истории, например официальное осуждение сталинизма. Мемориалы в Берлине, с которых мы начали, — пример твердой памяти. Нюрнбергский процесс — форма твердой памяти, которую создало международное сообщество в условиях поражения фашистской Германии во Второй мировой войне.

Но в России ничего подобного в силу исторических причин и в силу особого устройства памяти не было и не могло быть. Вместо этого у нас различные виды мягкой памяти. Мариэтта Чудакова, будучи советником Бориса Ельцина по культуре, говорила, что у нас не было Нюрнбергского процесса, но у нас была литература о репрессиях: книги Солженицына, Гроссмана, Гинзбург, Шаламова. И она пишет, что наш Нюрнбергский процесс сотворился в литературе. Это слабое утешение, потому что литература вещь достаточно эфемерная: она приходит в школьную программу и уходит, ее можно читать, а можно не читать. Литературная форма меморизации — слабое приближение к тем «твердым» монументам и формулировкам, которые остаются в истории.

Но в любом случае все это ведет к тому, что Эткинд называет «кривым горем» и неумением справиться с прошлым. Культура горе заговаривает, обходит по периметру, боится назвать по имени. Поэтому мы не можем договориться о Сталине, о репрессиях. Поэтому такой маленький процент людей участвует в акциях поминания жертв политических репрессий.

В России происходит то, что я бы назвал национализацией памяти. Связано это в большой степени с исторической политикой, во многом с нынешним министром культуры Мединским, который сделал себе имя на «борьбе за память». Его книги как раз посвящены проблеме «очищения» истории. Он считает, что история пропитана антирусскими мифами, и своей задачей в последние 20 лет он видит борьбу с этими мифа-



Хулио Гонсалес. Голова. 1935

ми. Взамен нам предлагается спрямленная, зачищенная история, идущая от победы к победе, нарратив о доминирующей роли государства. Но это не изобретение одного только Мединского, это проблема историографии всей России. У нас основные книги по истории, начиная с Карамзина, так и называются — «История государства Российского». Это не история народа, не история земли, не история семьи и человека. Это все совершенно разные точки зрения, разные нарративы.

Иными словами, происходит огосударствление памяти, огосударствление всего — уже 70% экономики под государством; огосударствление общества, собственности, культуры. Происходит ползучая реабилитация Сталина, Грозного как создателей империи. Вроде ведется борьба с фальсификациями истории, но оправдываются доказанные фальсификации, как, например, Катынь или миф о героях-панфиловцах. Существуют документы военной прокуратуры о том, что история была придумана корреспондентами в январе 1942 года. Об этом свидетельствовал бывший директор государственного архива Сергей Мироненко, за что лишился своей должности. Мединский говорит, что пусть это миф, но не надо его трогать, поколения прожили с этим мифом, и нам комфортнее с ним жить, так что давайте не будем ставить вопрос о том, было это или нет.

Это очень интересное заявление министра. Память отрывается от факта и приходит на болотистую почву исторических мифов, становится своего рода религией. Религией становится и Победа. В большой степени она даже замещает формы православия, которое тоже перешло в обрядовере. Это религия Победы, не Великой Отечественной войны, а именно Победы. По Москве висят плакаты «Приходи в музей Победы». Есть и музей войны, но гораздо важнее Победа. Победа без войны, без жертв, без страдания, победа без крови и боли. Это некий позитивный государственный миф, который подчеркивает только торжество. Перманентное 9 мая — это некая литургия, которая творится каждый день даже помимо самого дня 9 мая. Все это сопровождается ритуалами. Бессмертный полк — прекрасная инициатива, которая была организована томским телеканалом ТВ2. Но она была взята в государственные руки и превратилась в официальный крестный ход, фактически в обязательное шествие.

Появилась и соответствующая квазирелигиозная символика. Например, ходит по Сети вирусный мультфильм, где девушка по телефону сообщает своему парню, что она «залетела» и ей нужно сделать аборт. И тут с ней заговаривает медсестра с фотографии «бессмертного полка» на стене, словно в легенде о говорящей иконе, и вещает: «Не делай аборт, ты родишь сына». Девушка прислушивается и отказывается от аборта. Причем важно, что будет сын, а не дочь. Сын подрастает, он ходит на парады, он будет военным, будет защищать мать и Родину.

Или вот плакаты движения против абортов. На нем изображен зародыш, а рядом мальчик пяти лет в военной форме и подпись «Защити меня сегодня, я буду защищать тебя завтра». И ниже еще одна надпись — Движение против абортов, несите деньги в ближайший храм.

Происходит интересное сближение биополитики и религии войны, которое воспринимает тело женщины как машину для родов, а население как биомассу.

И что еще хуже, Победа становится проекцией в будущее и формирует современную политику. Дискурс Победы вдохновлял войну России с Украиной — все эти рассказы телепропагандистов о киевской хунте и

о том, что нацисты засели в Киеве. Все эти мемы «можем повторить» проецируются на Донбасс, на отношения с Америкой и Западом. Новый дискурс войны и милитаризма оправдывается 1945 годом. Произошла инверсия, с ног на голову было поставлено все. Три послевоенных поколения выросли с фразой «Лишь бы не было войны». И все это было сметено нынешним дискурсом победобесия. Теперь Россия это страна, которая в своей жажде Победы ищет войны. Возникает здесь, конечно, фигура Сталина, и можно обсудить, какую роль играет он в общественном сознании. Я подчеркну несколько аспектов. С одной стороны, Сталин — это ностальгия по порядку. Те, кто сейчас хочет Сталина, не видят себя в роли жертв репрессий и даже не хотят репрессий как таковых. Если им сказать, что в соседнем отделении полиции пытаются людей, они ответят, что при Сталине такого не было. Поэтому мы и хотим Сталина, чтобы менты если и пытали, то по делу, врага народа, а не просто какого-то человека. С другой стороны, миф о Сталине — это некий троллинг. Это ресентиментное сознание, хорошо описанное еще Достоевским. У него много героев-троллей — Свидригайлов, Смердяков. Так вот сталинский миф — это троллинг либералов, западников, троллинг людей более успешных. «Сталина на вас нет!» — это магическое возгласание, магическое призвание духа жесткого порядка.

С другой стороны, это описанный во многих исследованиях стокгольмский синдром: в какой-то момент заложники начинают отождествлять свои интересы с интересами террористов, испытывают к ним симпатию. Легитимация насилия, начиная с насилия в полиции, заканчивая насилием в семье, на улице, в школе. Насилие — это базовый язык, утверждаемый на самом верху.

Сталин в России становится своего рода брендом. Например, в Москве в Очаково-Матвеевском продается элитный жилой комплекс «Ближняя дача» рядом с местом, где была так называемая ближняя дача Сталина, которая сохранилась в глубине парка. А в Новосибирске продается «сталинский жилой комплекс» с хорошим ценником. За это готовы платить не социальные низы, не проигравшие, а вполне состоятельные люди. Это не то что портрет Сталина под стеклом кабины дальнобойщика. Люди, имеющие от 20–30 миллионов рублей на покупку недвижимости, готовы их инвестировать в том числе в имя Сталина как в некую идентичность и гарантию стабильности.

Спор о 90-х сильно будоражит наше общественное сознание. Готовясь к этому выступлению, я подумал, что нет ни одного десятилетия в истории России, с оценкой которого наше общество готово было бы согласиться. Нет согласия по столыпинской реформе, по поводу революции 1917 года. Столетие революции почти не отмечалось из-за страха Майдана. Период с 20-х по 50-е годы — бесконечный спор о большевистских и сталинских репрессиях. Позже дискуссии по поводу хру-

щевской оттепели, как и эпохе застоя Брежнева. В 80-е нет согласия по Горбачеву и перестройке, а в 90-е — по ельцинским временам. Вся история XX века — сплошное минное поле.

90-е годы представлены у меня двумя картинками. Первая — это кадр из фильма «Жмурки» Балабанова. Балабанов — гениальный режиссер, работающий с исторической памятью и мифами. Он как на клавиатуре играет на всех мифах и архетипах современной России.

С другой стороны, вот вам «Остров 90-х» — фестиваль всего лучшего, что было в культуре 90-х годов, организованный интернет-порталом Colta. Это и время «лихих 90-х», когда, как говорит Путин, люди «ураганили», и время возрождения, время культурного взрыва и освобождения людей от власти государства. Ельцин-центр является и местом памяти, и местом битвы за память. Я всем своим студентам рекомендую его посетить, это один из интереснейших музеев Восточной Европы. Это фактически воссозданная история последних лет Советского Союза, выполненная в интересном архитектурном и экспозиционном ключе. Внутри невероятно насыщенное пространство — 7 фаз эпохи Ельцина как 7 дней творения.

Но битвы велись в основном в связи с анимационным фильмом по истории России, который показывают посетителям при входе. Там есть эпизоды, когда Россия могла пойти по пути свободы, но не сделала этого. Это и Земский собор 1613 года, и Новгородское вече, изгнавшее в свое время Александра Невского, и освобождение от рабства 1861 года. Показаны развилки, когда народ стремился к свободе, но всегда приходило государство и давило этот прорыв. По поводу этого мультфильма шли и идут острые идейные схватки. И что еще интересно, музей находится на Урале, а на Урале Ельцин свой. Там мифология, что «пьяный Ельцин развалил Союз» не работает. И что важно, Центр стал местом притяжения: туда каждый день приезжают десятки свадеб. Там такой специфичный маршрут в городе — памятник Ленину, памятник Свердлову и памятник Ельцину. И важно, что они едут и к Ельцину.

В завершение хочу отметить главную мысль своего выступления: память в России сегодня заменяет политику. Ведь нынешний режим защищает сферу политического. В России нет политических институтов — нет парламента, нет правительства, нет свободной прессы. И в этом выжженном пространстве как форма публичности прорастает память. Или же память выступает как форма гражданского сопротивления, например акции «Последний адрес», «Возвращение имен». И еще много примеров можно привести, тот же «Немцов мост», где на протяжении четырех с половиной лет после убийства политика сохраняется народный мемориал.

Память в нынешнее время становится вопросом безопасности. Хочу здесь привести одну цитату. Когда я читаю историю международных отношений, то много внимания уделяю конструктивизму как наиболее

близкой мне теории. В рамках конструктивизма есть Копенгагенская школа международных отношений, где была сформулирована концепция *societal security*. Не *social security*, а именно *societal*, социетальная безопасность. Как говорит автор этой теории Уле Уэвер: «У государств есть *безопасность*, у обществ есть *идентичность*. И оба понятия предполагают выживание». Идентичность и память — это то, за что люди готовы идти на смерть, и то, за что люди готовы убивать. То, что мы в новейшее время увидели впервые в Югославии. Память становится вопросом безопасности, вокруг нее формируется мировая повестка и новые дискурсы международных отношений. Это первое суждение.

Второе. Память становится областью реполитизации общества. В условиях политического кризиса, в условиях постполитики история занимает место политики. Место идеологии теперь занимают исторические нарративы. Нынешнее российское общество расколото не на правых и левых, оно особенно четко расколото по отношению к репрессиям и роли в этом Сталина.

Третье. Войны памяти чреваты гражданскими и общественными конфликтами, и примирение очень проблематично. Мы видим, как конфликты пробиваются спустя сотни лет — те же Иван Грозный, Колумб. В нынешних российских условиях проговаривание проблем не ведет к их решению, мы топчемся на месте. И все осложнено проблемами деколонизации пространства, дерусификации и прочих процессов преодоления имперского и советского наследия. Непроговоренность нашего общего прошлого, непроговоренность исторической травмы — депортации народов, оккупации территорий, антисемитизма — по-прежнему заложены как мины. И все это усугубляется постимперским ресентиментом России, который вернулся в XXI веке. Потому что главное чувство современной России — это неудовлетворенность от потери Империи. Россия живет ретрополитикой, в этом главная проблема. В великом прошлом, которое не дает отцепиться от исторических нарративов, мы пытаемся шагать вперед с головой, обращенной назад, — и такая ходьба всегда рано или поздно приводит к падению.

Я думаю, что в итоге окончательный и неизбежный распад Российской империи должен произойти в сфере памяти. Это характерно и для Испании, и для Америки, и для других. Нам необходимо признание множественности памятей. Никогда не договорятся русские и эстонские националисты по поводу того, чем был 1940 год для Эстонии. Но надо признавать память другого, уважать ее, быть к ней толерантным. И главное, что память нужно вырвать из рук государств. Памятью должны заниматься живые люди. Это вопросы индивидуальной идентичности, истории рода, семьи, города. Это важный этап разгосударствления и приватизации памяти, который России еще предстоит пройти.

Время памяти (Взгляд из Бишкека)



*Эльмира Ногойбаева,
основатель и директор
Академии гражданского
просвещения
(Кыргызстан)*

Не так давно в Кыргызстане на парламентских слушаниях о новой кандидатуре на пост министра образования и науки депутаты рекомендовали брать пример с товарища Сталина. А более года назад молодые коммунисты Кыргызстана предлагали переименовать одну из главных улиц Бишкека, назвав ее именем Сталина.

Речь в этом случае скорее всего не идет о памяти. Речь о демиурге «всех времен и народов», которого мы взращиваем сами. Сталин изначально был интернационально сконструирован и остался частью постсоветской и российской мифологии. Как в Москве, так и в Ереване, и в Бишкеке это — миф отца. Родителей не выбирают, так люди видят его. Для XX века он данность, притягательная и противоречивая. В каждой бывшей республике, в каждом углу Евразии. Возможно, стокгольмский синдром пора уже переименовывать в сталинский? Как иначе понять людей бывшего СССР, судьбы репрессированных, память народов, переживших депортации? «Царь хороший, он не знал»!?

Центральная Азия. Ее память многослойна, она еще не заговорила. Слушая и наблюдая за тем, что происходит в Балтии, Украине, она еще молчит. Но ее память — басмачей, голода, Туркестанского легиона, войны, конкретных людей — оживает и прорывается, хотя в отличие от других регионов ей не особенно позволяют. Утратив Балтию, реагируя на Украину, Кавказ, Российское государство, очевидно, все еще верит, что несет сюда светлое будущее. Сегодня это выражается в ностальгии, пропаганде и менторстве разных союзов типа ЕАЭС и ОДКБ, а также в опоре на манипулятивный ресурс в виде мигрантов с их ритуальной памятью. Интернационал здесь подменили



под брендом мира на «соотечественников» и коренных, и их память остается разменной монетой.

Проводники памяти. Один из первых так называемых иностранных агентов в России, заслуги

которого в будущем будут оценены в полной мере, — Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество «Мемориал». Его мы не можем проигнорировать, если говорим о памяти и архивах, которые еще ждут своего часа. Да, мы не забыли архивную революцию 1990-х и о том «социальном сдвиге», по выражению Арсения Рогинского, который продолжается. Не плавно, толчками, но он идет. Мы это видим, и наше движение «Эсимде» тоже взяло этот курс, рассматривая его как свою миссию*. Культура имеет значение. Тем более в век визуального искусства. В век подкастов и «Инстаграма», когда технологии уводят от государства. Когда невозможно построить ни железный занавес, ни Китайскую стену. Когда неформальные сети выворачивают весь глянec наизнанку. И глянec государства как пафос. Да есть и литература. И «Зулейха открывает глаза»**. Интерес к семейно-

му древу, огромный всплеск мемуаристики, в том числе о войне. И голоса тех, кто обычно был фоном, а потом мы понимаем, что «У войны не женское лицо». Что в той героике больше жертвенности. И война — не только победа. Да, еще и кино. «Покаяние» Тенгиза Абудладзе — может быть, это и есть причина, тот самый толчок для грузин, который их пробудил, тот самый «социальный сдвиг».

Кстати, в Акмолинском лагере жен изменников родины (АЛЖИР), в официальном День памяти жертв политических репрессий и голода в Казахстане в мае этого года меня долго не отпускал портрет женщины. Из огромного количества портретов разных, в том числе и неженских, лиц ее взгляд был особенно магнитичным. Позже я узнала, что она и есть прототип одной из главных героинь «Покаяния»***. Есть в этих выношенных, проникновенных фильмах своя магия, она ощутима. Как и в военных фильмах Алексея Германа-старшего, в которых наши отцы и их современники мучительно пытаются нам передать что-то самое важное.

Социальные сети еще неформальны и также подвержены изменениям, реагируя на современную агрессивную и навязчивую рекламу. В частности, еще лет пять назад в бывших республиках СССР существовали сетевые музыкальные и не только группы, творчество которых определяла ностальгия. И в

* См.: esimde.org «Азаттык» и дискуссионная площадка «Эсимде: осмысляя свою историю».

** «Зулейха открывает глаза» — роман российской писательницы Гузель Яхиной о раскулачивании 30-х годов XX века. Опубликовано в 2015 году в издательстве АСТ. Кинокомпанией «Русское» для телеканала «Россия 1» по роману Гузель Яхиной снят 8-серийный фильм с Чулпан Хаматовой в главной роли. — Прим. ред.

*** Эта красивая женщина — Кетеван (Кетусия) Орахелашвили, жена известного грузинского дирижера Евгения Микеладзе. Объявленные «врагами народа» родители Кетеван и муж были расстреляны, а Кетеван сослана в Среднюю Азию. — Прим. ред.

Кыргызстане была такая популярная группа — «Дети брежневских времен». Это был интересный опыт коллективного всплеска «золотого века» 80-х и 90-х — клуб «Феличита», «Будь готов!». Из виртуального он иногда выплескивался в реальный. Постсоветская сетевая память — это отдельная тема для исследования.

Что же касается практик коммеморации государства*, то здесь все сложно. Меняются лидеры, и каждый из них в разное время по-разному озабочен легитимацией себя, государства, определенных периодов и героев. Для Кыргызстана, единственной страны в Центральной Азии, сменившей за период независимости шесть президентов, это очень актуально.

Если отношение к Сталину устойчивое скорее по умолчанию и не нуждается в ритуальном поклонении, то культ Победы для лидера Кыргызстана священен. Во всяком случае, нынешний президент, видимо, единственный на постсоветском пространстве, который участвует в шествии Бессмертного полка, ставшего привычной деталью ежегодных торжеств. В Центральной Азии все еще почитаема Панфиловская дивизия. Легенда гласит, что корни ее отсюда. Не говоря уже о том, о чем мало кто знает, что и власть ГУЛАГа не обошла эти места. Здесь тоже были массовые репрессии, потому что людей в тоталитарном государстве уничтожал не только спускаемый из центра террор, но и периферийная конкуренция за лояльность центру.



Кетеван Орахелашивили

Попытки и желание актуализировать память доходят порой до парадоксов. Так, в 2012 году в Бишкеке, во время открытия Мемориального комплекса блокадникам Ленинграда, бывшему тогда президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву было присвоено звание «Почетный блокадник Ленинграда»**. Безусловно, с его стороны была какая-то поддержка или вклад. Но само это звание вызвало недоумение. Коллега, прочитавший нам эту новость, долго вопрошал о логике постановки вопроса: «Значит, он мог бы за эти заслуги гипотетически стать и “почетным узником Бухенвальда”»?

Практики коммеморации нередко парадоксальны, так как зависят от меняющегося политического контекста.

* Коммеморация — сохранение в общественном сознании памяти о значимых событиях, термин введен французскими историками. — Прим. ред.

** См.: <https://knews.kg/2012/05/08/almazbek-atambayev-stal-pochetnyim-blokadnikom-leningrada/>



*Роберт Скидельски,
член палаты лордов
парламента Великобритании,
почетный профессор
университета Warwick,
член Британской академии*

Неразрешимая политическая трилемма: суверенитет, глобализация и демократия*

Мы вступили в серьезную политическую ситуацию: откат в ряде стран с установившейся демократической традицией. Я говорю о так называемых промышленно развитых странах, которые достигли того, что мы называем либеральной демократией. Сегодня, конечно, понятие развитых или развивающихся стран во многом размыто и потеряло смысл. Но считается, что со времени эпохи Просвещения мир развивается в одном направлении, я бы сказал даже не в гегельянском, а в эволюционном смысле — от варварства к цивилизации, от суеверий к науке. Это колоссальный червь, который упорно роет туннель, пробиваясь вперед.

Ценности Просвещения никогда не подвергались сомнению. Но вопрос в том, кого можно назвать подлинными наследниками этой эпохи. Единоутробными братом и сестрой Просвещения принято считать либеральную демократию и марксизм, хотя цели у них, безусловно, разные. В капиталистической демократии речь шла о свободе предпринимательства, у диктатуры пролетариата была цель отменить систему частной собственности на средства производства.

Я говорю об идеологической борьбе в XX столетии, и вам о ней известно. Но мне также надо сказать несколько слов о фашизме. Как фашизм вообще входит в это уравнение, в это соперничество интеллектуальных течений? Это тем более существенно, что сегодня мы наблюдаем рост неофашизма, в том числе укорененного в определенных течениях, которые присутствуют в наших обществах с начала XX века.

** Выступление на семинаре Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы в Сеговии 27 мая 2019 г.*

Фашизм воспринимался как атавизм, как отход от идей Просвещения. В действительности это несколько упрощенная трактовка. Следует понимать, что фашизм фактически желал использовать науку в варварских целях, он заслуживает весьма пристального внимания как экзистенциальное явление. Но фашистский вызов либертарианству и демократии был явлен, в частности, и в строках Джорджа Оруэлла, который писал, что красота человеческого существа и духа во многом выражается именно в противодействии страху, ужасу и бедствию. И когда мы говорим об идеальной механической эффективности, мы фактически отказываемся от идеала мягкости. Мягкость считается отвратительной, и в связи с этим прогресс все чаще сосредоточивается в некой вершине, которая, как мы надеемся, никогда не будет достигнута. Это парадокс, о котором писал Оруэлл (*George Orwell: "Notes on Nationalism"*. Первая публикация: *Polemic*. — ВВ, Лондон. — май 1945 г.). С одной стороны, отвращение и восстание, олицетворенное либерализмом, с другой — это, конечно, совершенно чудовищный конец, постигший фашистские системы в ужасе и пламени Второй мировой войны.

Спустя еще несколько десятилетий потерпела крушение коммунистическая система. И марксизм как правящая идеология фактически сошел со сцены истории. По мнению многих исследователей, начиная с Фрэнсиса Фукуямы (*Фукуяма, Фрэнсис, «Политическое устройство и политический упадок: от индустриальной революции до глобализации демократии», или «Конец истории и последний человек» (The End of History and the Last Man) (1992)*), либеральная демократия достигла триумфа и ознаменовала «конец истории». Либерализм предполагался некоторыми авторами как конечная стадия развития человеческой формации и общественно-политического устройства. В соответствии с этим взглядом либеральная демократия вкупе с капитализмом воспринималась, во-первых, как лучшая гарантия научно-технического прогресса. А во-вторых, она признавалась единственной моделью удовлетворения универсального требования гуманной составляющей человеческой природы и нашей цивилизации. Все остальные идеологические течения от империализма колониального периода до фашизма и коммунизма представляли собой откат или отвержение гуманизма в человеческой природе.

Эти суждения во многом соответствовали духу 1989–1990 годов, когда оппозиция так называемой западной модели рассыпалась. Однако слабости такого понимания истории состоят в следующем.

Первое — это идентификация либеральной демократии с рыночным механизмом. Подразумевается, что рыночная экономика — это естественный компонент либеральной демократии. В то время как эта связка была практически случайной, потому что рыночные отношения существенно отличаются от принципов политического либерализма. Рынок предполагает справедливость в обмене товарно-денежными ак-

тивами в условиях конкурентной борьбы, тогда как политический либерализм в гораздо большей степени отождествляется с правосудием, а не с исходом конкурентной борьбы в процессе свободного обмена.

В контексте социальной демократии политический либерализм во многом соотносится с равенством, в том числе с равенством возможностей. Рыночная система не подразумевает справедливости в правовом смысле. Она может обеспечивать справедливость процесса, но не социальных условий этого процесса. Тогда как политический либерализм подразумевает справедливый результат каких-либо действий в социуме (по крайней мере в теории). Не существует абсолютно справедливых конкурентных рынков, поэтому рыночные отношения как таковые не свободны от ряда особенностей, в том числе тех, о которых писал Паоло Савона в недавно опубликованной работе. Савона — интересный автор, он был итальянским министром по европейским делам. Савону интересуют эффект противоречий в политической триаде. В частности, он пишет, что рыночная система сегодняшнего капитализма, концентрация в руках избранных огромного богатства вызывает снижение внимания к чрезвычайно важным последствиям, которые, в свою очередь, искажают коллективное адекватное восприятие демократии, рынка и государства. Савона утверждает, что, когда рыночные отношения компрометируются, тень падает и на другие члены триады.

Вторая слабость тезиса Фукуямы состоит в том, что он абсолютно западноцентричный. Для Джона Грея (*рецензент Фукуямы, британский политический философ, профессор-эмеритус «Лондонской школы экономики и политических наук»*. — Прим.ред.) крушение коммунистической системы было частью всемирного процесса. И здесь я вынужден отметить пессимистичный взгляд на мир — западная цивилизация находится в состоянии упадка, а исламская и азиатская цивилизации находятся на подъеме. Поэтому приходится прибегать к тезисам социалдарвинизма и попыткам перенести теорию естественного отбора и конкурентной борьбы на социальные процессы.

Фукуяма полагал, что такие части света, как, например, Ближний Восток, еще не дошли до конца истории. Он предполагал, что они еще долго будут двигаться к состоянию Запада, а Россия и другие страны Восточной Европы очень скоро присоединятся к нему. Сегодня эти воззрения представляются нам достаточно примитивными, наивными и исторически несостоятельными.

В политологии существует такое понятие, как *Path Dependence* — зависимость от пройденного пути. В России бытует представление о некоем своем, третьем, пути развития. Вопрос в следующем. Идет ли речь о каком-то особом пути? Если у страны есть какие-то исторические одежды, то страна не может их сбросить и отказаться от условного своего пути.

Прежде чем обратиться к формальной теории трилеммы, позвольте напомнить, что такие крупные исследователи, как Ральф Дарендорф*, также подвергали сомнению тезисы Фукуямы. Дарендорф писал, что создание богатства и политическая свобода в прошлом часто шли рука об руку. Сегодня социальную солидарность, производство богатства и политические свободы далеко не всегда можно считать попутчиками. Зачастую рыночная экономика вступает в противоречие с либеральной демократией, как в ряде европейских стран. Казалось бы, речь идет об интегрированном рынке, который основан на национальной политике. Но разрыв между тем, к чему стремится демократическая политическая система, и тем, что генерирует рынок, очевиден. Формальная политическая теория трилеммы изложена в работе Дэни Родрика в 2007 году**.

Он полагает, что мы не можем эффективно сочетать *демократическую политику, национальный суверенитет и экономическую глобализацию*. Если во главу угла ставить глобализацию, то нужно отказаться либо от национального государства, либо от демократической политики. Если делать ставку на демократию, то придется выбирать между национальным государством и экономической интеграцией. Наконец, если сохранить национальное государство, следует выбирать между экономической политикой и экономической интеграцией. К сожалению, сегодня очевидна неизбежность выбора альтернативных путей развития. Я не могу сказать, что мы живем в мире сделок. А политика часто воспринимается в контексте сделок, компромиссов или, наоборот, в контексте нечестного обмена. Дэни Родрик говорит о трагической, по сути, трилемме, которую мы наблюдаем в смысле политического, если угодно, цугцванга. Речь идет о невозможности сделать правильный ход и соединить адекватно все три необходимых элемента. Демократическая политика может быть совмещена либо с экономической интеграцией, либо с планетарным правительством. В случае создания планетарного правительства мы можем говорить о планетарной демократии, но тогда придется отказаться от национального государства. Таким образом, возможно сочетание двух, но не трех элементов из трилеммы.

* Ральф Густав Дарендорф (нем. Ralf Gustav Dahrendorf; 1 мая 1929, Гамбург — 17 июня 2009, Кельн) — англо-германский философ, социолог, политолог и общественный деятель. Автор так называемой конфликтной модели общества.

** Rodrik, Dani. *One Economics, Many Recipes*. — Princeton University Press, 2007. Парадокс глобализации впервые подробно разбирается в более ранней его книге (1997) «Глобализация зашла слишком далеко?», которая названа «одной из наиболее важных экономических книг десятилетия», по версии журнала *Bloomberg Businessweek* (Rodrik, Dani. *Has Globalization Gone Too Far?* — Institute for International Economics, 1997). На русский язык переведена книга 2011 года: Родрик Д. *Парадокс глобализации. Демократия и будущее мировой экономики* / Пер. с англ. Н. Эндельмана; под науч. ред. А. Смирнова. — М.: Изд-во Института Гайдара, 2014. — 576 с.



Робер Гобер. Без названия. 1991

Суверенное национальное государство подразумевает другие возможности. Оно может быть согласно на международную интеграцию, но за счет экономической политики. Вот вторая часть этого уравнения. И мы понимаем, что политика в этом случае остается национальной. И еще есть вариант, когда национальный суверенитет может сочетаться с демократической политикой, но, увы, за счет экономической интеграции. В своей статье Родрик пишет, что сочетание демократической политики и экономической интеграции совершенно невозможно, потому что планетарная демократия также совершенно невозможна. Мы просто не

можем ожидать, что планета Земля придет к планетарному правительству или к всеобщей политической системе.

Альтернатива состоит в том, чтобы национальное государство и глобализация комбинировались так, как это было в XIX веке. Хотя бы потому, что в этих, с точки зрения некоторых наблюдателей, благословенных государствах попросту не было демократии в той мере, в какой мы наблюдаем ее сегодня. Там присутствовал очень высокий избирательный ценз, что, как известно, приводило к росту социального недовольства и массовой эмиграции в Соединенные Штаты, в частности. Предполагая невозможность первого и второго вариантов, национальный суверенитет может сочетаться с демократической политикой лишь за счет экономической интеграции. Это приводит к тому, что в этом контексте применимы протекционистские тарифы, контроль над капиталом и контроль над миграцией. Таковы составные части трилеммы Дэни Родрика.

Господин Родрик очень разумный человек, и он с сожалением думает о том, что мы попали в такие жесткие, фактически нереализуемые альтернативы. Поэтому он предлагает компромисс, который назвал *внедренным либерализмом*. В 1945 году великие державы пришли к общему мнению, что мир больше не может жить так, как в XIX веке, мир не может допустить еще одного Гитлера. В результате государства согласились на ряд кодексов в экономической системе, а ООН воспринималась как своего рода эмбриональное планетарное правительство. Мы знаем, что это не сработало, но так или иначе мы видим в этом некий путь к воплощению решения трилеммы. Родрик оставляет открытым вопрос о том, существуют ли дееспособные формы демократической легитимности помимо и вне «демократических стран». Европа является прекрасным примером возможных вариантов.

Теперь я перехожу к решению Великобритании о выходе из ЕС в результате плебисцита в 2016 году. Мы не знаем, что произойдет в ближайшие месяцы и не очень хорошо отдаем себе отчет в том, что происходило в течение двух прошедших лет по мере того, как разворачивалась сага о брексите. Мы хотели выйти, но не смогли, решали, как именно выходить и стоит ли выходить вообще. Мы могли бы назвать это самым крупным экспериментом в период глобализации, который продолжается и поныне. Это, конечно, ограниченный эксперимент, поскольку он не распространился на весь мир, но все же затронул 28 стран Евросоюза.

В Евросоюз принимают не все страны, у него нет четко определенных границ, так что это довольно эфемерное образование, которое я назвал бы *добровольной империей*, если угодно. Это единственная имперская система, которая основана на добровольном согласии. В Европе бывали империи и до этого, они были по всему миру, но не было империй добровольных. Страны ЕС пошли на добровольные ограничения, что-

бы реализовать свободу торговли без границ, передвижения капитала, человеческих ресурсов и услуг, они согласились передать Брюсселю часть суверенитета. Соответствующие соглашения заключили национальные правительства, отвечая перед избирателями, которых, строго говоря, и не спрашивали. Поэтому это весьма слабое подобие ответственности перед избирателями.

Европейский союз похож на государство, не так ли? У него есть флаг, есть парламент, есть совет министров и прочие атрибуты государства. Но это фейковое государство, если угодно, и поэтому у него нет политической легитимности. Проходят выборы в общеевропейские институты, и сейчас явка немного повысилась, но все равно она много ниже, чем на выборах в национальные парламенты. И ни один из институтов ЕС не имеет того, что в политической терминологии мы называем полномочиями, и теоретически страны — члены ЕС даже эти полномочия могут отозвать.

Чисто внешне кажется, что для Великобритании трилемма не так актуальна, поскольку мы не входим в еврозону. Это значит, что страна сохраняет многие инструменты, связанные с национальной независимостью, в том числе в экономике. Она может девальвировать курс национальной валюты, например. Она также может вести любую налоговую политику, имеет свой Центральный банк, который может печатать собственную валюту. Великобритания сохранила многие национальные элементы управления страной, у других стран ЕС этого нет.

Британия и так пошла на меньшие уступки в отношении национального суверенитета, откуда же тогда такая поддержка брексита? Сложно ответить на этот вопрос. Действительно ли Британию так уж связали по рукам и ногам отношения с ЕС, чтобы она так возжелала выхода из союза? Просто многим представляется, что Брюссель полностью управляет национальным суверенитетом не только британцев, но и всех европейцев. Такой разрыв в восприятии и есть одна из причин брексита. Есть и другие аспекты того, почему Великобритания решила, что ее полностью лишили суверенности. Первая состоит в том, что суверенитет парламента и короны был частично ограничен. Фактически правительство само себя ограничивало международными договорами, которые было невозможно отозвать. Идея суверенитета парламента и короны попросту встроена в мышление британцев, поэтому у многих правоведов, у многих законников относительное ограничение суверенитета вызывает озабоченность и отторжение. Это же можно сказать о Германии. Конституционный суд используется именно для того, чтобы частично ограничить полномочия Европейской комиссии в Брюсселе, которая, в свою очередь, пытается ограничить немецкий Центральный банк. И это только один из аспектов.

Есть еще одна группа, которую условно можно назвать тэтчеристами. Они думают, что Европа — это демократический монстр, который про-

сто душит дух свободного предпринимательства. В последний год своего премьерства Маргарет Тэтчер ездила в Брюгге, где выступила с речью. Она сказала: «Мы пока еще не восстановили свободный рынок в Великобритании. И как только мы попытались это сделать, его сразу задушила брюссельская бюрократия». Все современные тэтчеристы полагают, что ЕС буквально душит остров свободы и предпринимательства.

И третья проблема — право не допускать в страну мигрантов. Этого права Британия лишилась, поскольку подписала договор о свободе перемещения.

Дэни Родрик, являющийся изобретателем термина политической трилеммы, делает следующие выводы. ЕС должен был управлять общим рынком, но давно вышел за

рамки того, что мы называем политической легитимностью. Европейский проект действительно высасывает кровь из национальных институтов, никак не компенсируя это чем-либо легитимным на общеевропейском уровне. И один из способов решения этой проблемы — создание общеевропейского государства. Именно это, кстати, и предложил Янис Варуфакис, тогдашний министр финансов Греции, говоря о Соединенных Европейских Штатах с парламентом, перед которым отчитывался бы выбранный президент еврогосударства.

Если вы желаете подлинной демократии в ЕС, следует создать подлинное европейское государство, должна быть исполнительная власть, которая отвечала бы перед европейским парламентом. А раз этого нет, Европейскому союзу всегда будет не хватать этого компонента политической легитимности. Поэтому такие люди, как Эндрю Адонис и Уилл Хаттон, которые руководят в Британии кампанией, за то, чтобы остаться в Евросоюзе и создать Соединенные Штаты Европы, и они задаются вопросом: возможно ли это, реально ли? Ну да, можно попробовать, но Германия этого не желает. Германия является наиболее мощной страной ЕС и имеет право вето. Почему же Германия этого не хочет? Потому что именно Германии придется больше всех заплатить за то, чтобы создать и удержать это государство в качестве единого целого. Германия — единственная страна в Европейском союзе, где большой профицит бюджета. Поэтому немцы не хотят становиться лишь одной из 28 стран, чьими деньгами будет свободно распоряжаться европейское правительство.

*В контексте социальной демократии
политический либерализм во многом
соотносится с равенством, в том числе
с равенством возможностей.*

*Рыночная система не подразумевает
справедливости в правовом смысле.
Она может обеспечивать справедливость
процесса, но не социальных условий
этого процесса*

Еще одна проблема — ослабление позиций Ангелы Меркель внутри Германии. Меркель, как и госпожа Мэй, вынуждена будет уйти. Почему ее позиция так ослабла? Потому что она в 2015 году позволила принять в стране миллион беженцев из Сирии. И это напрямую привело к победе партии «Альтернатива для Германии», получившей 13% на парламентских выборах. У нее теперь 90 мест в бундестаге.

Хотелось бы воздержаться от политических параллелей, но тем не менее я их проведу. Партия национал-социалистов Гитлера получила всего 2% голосов на выборах в 1928 году. Но на выборах в 30-м году у нее уже было 8% и 32% на выборах в 1932 году. Мы должны быть очень осторожны с подобными сравнениями, никого, подобного Гитлеру, в Европе даже близко нет. Говорят, что история никогда не повторяется, но также говорят, что история рифмуется.

Итак, брексит — это наиболее яркий пример того, как действует трилемма. Но это не единственный пример. Сегодня по всему миру мы наблюдаем бум популистов, выступающих против либеральной экономики и политики. Дональд Трамп — как раз продукт так называемого ржавого пояса в Соединенных Штатах Америки. И в Европе, и по всему миру у Трампа есть сторонники. В Венгрии у власти популист — Виктор Орбан. Есть Маттео Сальвини — наиболее мощный политик в Италии, один из лидеров «Лиги Севера», которая получила довольно много голосов на последних выборах в Европарламент. Это никак не либералы — они против ЕС, против миграции. Они так или иначе хотят, чтобы их страны вернули контроль над своими границами. В прессе пишут о левых популистах, о правых популистах, но в действительности и те и другие согласны во многих вопросах. Поэтому я еще раз хочу сказать, что, когда мы думаем об истории, вспоминаем о фашизме, мы помним, что в нем сочетались и элементы разных программ с левой стороны, и национализм, свойственный правым. Подобную комбинацию политических векторов мы наблюдаем и сейчас.

Переходя к выводам, вновь процитирую Паоло Савона: *«Капитализм имеет некий встроенный инстинкт, который всегда зовет к миру без границ»*. Капитализм не терпит государств, вмешивающихся в дела рынка. Для всех приверженцев рынка границы являются лишь препятствиями, мешающими свободному обмену. Савона отказывается от аргумента Родрика о невозможности совмещения демократии и экономической интеграции. Тем самым Савона обнаруживает, что является левым социальным демократом. Его аргументация состоит в том, что неприменимость демократии является не только результатом глобализации, но также и следствием того, как устроены институты, которые запустили саму глобализацию. Не то чтобы глобализация отвергла демократию, но олигархи, контролирующие глобальные рынки, считает Паоло Савона, являются новыми суверенами мира. Он называет их коллективными законодателями. Он утверждает, что миром сего-

дня управляют всего лишь 15 теневых суверенов. Вполне возможно, что существует сеть финансовых, экономических институтов, которые олицетворяют верховенство права, но, с другой стороны, они же сами это право и формируют! Они поддерживают те законы, которые им выгодны. Вот так Савона воспринимает глобализацию. То есть не сама глобализация, а «финансиализация» и «олигархиализация» являются врагами демократии. С олигархами нельзя справиться, как раньше расправлялись с королями, например. Им нельзя отрубить голову, поскольку они тут же отрастят новую, как у гидры. И у них действительно власть и сила, поскольку они обладают возможностью сокращать финансирование властных институтов, которые, вполне возможно, желали бы их как-то контролировать.

Так система работает по крайней мере в странах Средиземноморского бассейна. Когда средиземноморские страны начали вести политику, которая не понравилась рынку облигаций, греков просто ограбили. Греки должны были дополнительно заплатить 35% за просроченную задолженность по долговым обязательствам. Такова власть, как утверждает Савона, этих финансовых институтов.

В действительности это вопрос политического выбора. Демократии должны решить: или защищаться, или сдаваться. Но нельзя сказать, что есть непреодолимые препятствия на пути демократии, так что в конце концов позиции Савоны и Родрика сходятся — окончательной целью всех наших социальных институтов должно стать создание и поддержание системы свобод. И демократия, и национальные государства, и сами рынки — все должно способствовать поддержанию свободной системы. Каждый из институтов должен поддерживать баланс. Савона считает, что следует сделать перебалансировку внутри триады: это вопрос политического выбора и политической воли.

Но кто и как это будет делать в мировом масштабе? Даже в европейском масштабе? Здесь сознание оптимистов затуманивается, потому что те, кто поддерживает идею баланса, говорят о необходимости объединения против власти теневых олигархов. Раньше был лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», а теперь — «Народы всех стран, объединяйтесь». Как вы думаете, это реалистичный проект?

Является ли всплеск популизма и неофашизма результатом того, что система не смогла контролировать финансовую олигархию? Или мы все же не отказываемся от идей Просвещения? Или же нам по-прежнему сложно признать, что жизнь ставит перед нами трагический выбор и речь идет не о выборе между хорошим и очень хорошим, а о том, что часто хорошее идет рука об руку с дурным? Противоречия содержатся в нас самих. Из этого следует, что будущее не так полно надежд, как мне бы того хотелось.

Знакомим читателя с нашими свежими изданиями, публикуя аннотации и фрагменты текста, дающие представление о книгах.



Россия 2018 года. Четверть века трансформации: удачные эксперименты и упущенные возможности. По материалам XXV Алтайской международной научно-практической конференции / под общ. ред. профессора НИУ ВШЭ, канд. ист. наук В.А. Рыжкова. М.: Школа гражданского просвещения, 2019. — 156 с.

Издание содержит основные материалы юбилейной XXV международной научно-практической конференции в области политических наук, состоявшейся 26–27 мая 2018 года в Барнауле (Алтайский край).

На конференции рассматривались основные итоги российской трансформации в минувшие 25 лет новейшей истории страны, в том числе вопросы состояния и перспектив европейской, российской и региональной экономик в условиях кризиса; проблемы развития политической системы и гражданского общества; показана динамическая картина социальной сферы и роли человеческого капитала; внешней политики России в условиях экономических санкций и конфронтации с Западом.

Издание предназначено для политологов, историков, социологов, экономистов, международных исследователей проблематики гражданского общества в России, а также тех, кто интересуется общественно-политической ситуацией в стране.

ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛЬНОСТИ В 1991 –2018 ГОДАХ

Из наблюдений результатов социсследований

Алексей Левинсон

Канд. искусствоведения, социолог, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-Центра, профессор НИУ «Высшая школа экономики»

Рассмотрим тему, опираясь на результаты многолетних опросов и исследований Левада-Центра. Мы, социологи, чувствуем свою ответственность за выводы и заключения относительно

периодов, которые принято называть историческими. Прошедшие тридцать лет — не просто период в жизни страны, а тридцать лет весьма драматических переживаний народа. То, что у

многих людей сохраняется сильная ностальгия по всему советскому, вполне понятная человеческая слабость: людям всегда свойственно вспоминать прошлое в розовых тонах и при этом ворчать по поводу приходящих новых времен. На самом же деле чувства, которые россияне переживают в целом как сообщество, связаны не только с тем, что время шло и что-то менялось, а с тем, что страна пережила колоссальные социальные трансформации. Мы говорим не только о переходе от социализма к некоему варианту капитализма, от советской системы к нынешней. Президент Путин назвал развал СССР величайшей геополитической катастрофой двадцатого столетия. Это точка зрения политика, для которого единицами рассмотрения являются страны, континенты, политические системы. Но для массового российского человека развал Советского Союза — катастрофа другого рода. Ее можно назвать социальной катастрофой в специфическом смысле. Говоря о социальной катастрофе, мы имеем в виду те условия, в которых существовали граждане СССР, так называемые трудящиеся, те социальные рамки, которые сложились за годы существования советского строя. Это типические «места приписки» советского человека: родное предприятие, родной завод, родная школа. Слово «родной» здесь очень важно. Это структура большого масштаба, которой приписывается то же социальное значение, которое человек приписывает своей семье и своему роду — а это сильнейшие связи.

Развал советской индустрии, как известно работавшей в значительной степени на нужды войны и обороны,

был не просто экономическим событием, связанным с динамикой рабочих мест или рабочей силы, — это было разрушение самих рамок человеческого существования. Советский корпоративизм предполагал, что все советские люди работают примерно в одних и тех же социальных рамках, схожим образом проводят досуг, потому что всегда есть «дом культуры нашего комбината», место, где осуществляются знакомства, связи. Как и места, где люди получают медицинскую помощь, покупают продукты и т.д. Весь советский жизненный цикл был заключен в такие рамки. В этом же ряду находились пионерские и комсомольские организации, коммунистическая организация (КПСС) — не как идеологические образования, а как объединения людей, которые вдруг в одночасье исчезли. Общество лишилось установившихся сетей и связей, после чего ключевой вопрос о том, общество это или нет, остается дискуссионным. Имеется в виду, что постсоветские люди продолжали жить на одной территории, но утратили при этом основания для своей идентификации.

Мы говорим о событиях, которые произошли около тридцати лет назад. Произошла социальная катастрофа, при которой никто не погиб, не пролилась массово кровь, но при этом она предопределила очень серьезные последствия для российского общества сегодняшнего дня. Среди них не только утрата оснований для локальной идентичности, обнаружения себя в социальном пространстве, но и важные условия, касающиеся поиска своего места в социальном времени. Коммунистическая перспектива и для тех, кто в нее верил, и для тех, кто не верил, оказа-

лась в одночасье утраченной. Те, кто сейчас верен КПРФ, больше не имеют в виду, что в будущем нас ожидает переход к коммунизму. Они не имеют образа будущего, как вообще его не имеет больше никто. Когда на смену утраченной коммунистической перспективе пришла условно новая демократическая, с точки зрения общественного здоровья это был очень важный переход. Люди поверили, что вскоре мы станем нормальной страной, войдем в европейскую семью народов, после чего будем дальше жить по-европейски. Однако спустя очень короткое время, приблизительно к середине 90-х годов, исчезло ощущение реальности и этой перспективы. Демократическое развитие России было скомпрометировано неудачными реформами, не то чтобы оно было совсем отменено, но как перспектива исчезло. Речь идет не о политических событиях, а о массовых представлениях. Будущее тогда перестало существовать. Это была вторая крупная фрустрация (после краха коммунистических иллюзий), на которую массовое сознание отреагировало совершенно не так, как представлялось ранее. Оказалось, что у россиян есть общее прошлое, есть настоящее, но при этом нет будущего, о котором можно подумать и помыслить.

Социолог Лев Гудков назвал это суровым выражением «аборт будущего». Жесткие слова не означают такого же жесткого ощущения проблемы самими людьми. Мы уже привыкли жить, не задавая себе вопросов о будущем и не давая ответов. Вопрос о будущем не задает себе никакая политическая сила, в том числе правящая. Социолог не может пройти мимо такого примечательного обстоятельства. Общество, у кото-

рого нет временного сознания, в некотором смысле дезориентировано. Мы говорим о публичном дискурсе. В рамках бытового дискурса люди прекрасно ориентируются в триаде времени прошлое–настоящее–будущее, рожают детей, берут кредиты — в этой части нет предмета для беспокойств.

Отсутствие чувства и образа общего будущего — важная черта нашего времени. Другая черта связана все с тем же коллапсом советской индустрии, в котором отчасти проявился общемировой тренд, но при этом в России деиндустриализация произошла по другим причинам и другими способами. На смену индустриальному обществу мы получили общество с сервисно-сырьевой экономикой, что также имело колоссальные социальные последствия. Вдруг исчезла привычная старая категория труда. Мы уже упоминали важнейшее советское слово «трудящиеся». Обратите внимание, что мы его не слышали за последние годы почти ни разу, притом что в советское время это понятие было главной формой обращения власти к народу. В наши дни не только власть не говорит на этом языке — среди самих людей идентификация себя как трудящегося практически исчезла, а ведь это очень важно — быть человеком труда. Это одна из важнейших основ самоуважения. Потеря этого ресурса не нашла никакой замены. Работать в наши дни — это совсем не то, что раньше трудиться, это обычное рутинное определение себя. На смену понятию «трудящийся» в начале 90-х начало было приходить понимание себя как самостоятельного, самостоятельного индивида, который сам ставит себе цели, сам несет ответственность за свою судьбу. Теперь же,

когда мы замечаем, как уменьшается число людей, готовых открыть собственное дело, мы на самом деле видим очередную акт постсоветской драмы. Потому что вместо перспективы стать самостоятельным человеком в свободном обществе опять предлагается перспектива стать частью чего-то, принадлежать чему-то, быть средством для чего-то внешнего человеку.

В этих обстоятельствах последних почти двадцати лет можно не считать феноменом так называемый рейтинг Путина. Что происходит с нацией или с народом, который на протяжении стольких лет одному и тому же лидеру оказывает высокое доверие на уровне 60–80%? Это феноменально. Если опустить тему личных заслуг Владимира Путина, выяснится, что обществу необходима консолидация такого вида. Почему? Потому что никаких других рамок, кроме принадлежности к чему-то великому (а это Россия, великая держава, символом которой является президент), у людей нет. Не будем умалять ни чувств, ни достоинства этих людей — а их чувства очень горячи, но разве не проблематично, что кроме этого людям не к чему себя причислить?

К этому состоянию общество адаптируется с трудом. Самый популярный ответ, который выбирают при опросах большинство россиян: «Жить трудно, но можно терпеть». Тут и проявляется известное долготерпение русского народа: наша жизнь нас не вполне удовлетворяет, но мы продолжим так существовать и не будем протестовать. Опросы показывают также, что о каком-либо серьезном протесте в обществе люди думают все меньше. Перед нами не реальный протест, а протест идеальный, лишь помышляемый.

Даже те, кто на предыдущих этапах истории имел надежды на другой курс развития страны, кто с интересом смотрел на то, что происходило в Украине, кто смотрел в 2011 году во время массовых протестов на Болотной и Сахарова, чья возьмет: Болотная или Кремль, сегодня разочарованы. Многие из них поначалу симпатизировали протестантам, но вскоре им показали, что всякий Майдан ведет к кровавым развязкам, к гражданской войне, что нынешняя власть способна присоединить Крым, не пролив ни капли крови. Это были очень сильные аргументы. В результате огромная часть общества (около 20 млн человек), очень важная и сильная, переменяла свою лояльность и находится в последние годы под знаменами великой посткрымской державы Путина.

Мы уже говорили о том, что люди утратили рамки идентичности, которые им давало советское устройство. Говорить о гражданском обществе советского времени не представляется возможным. После краха советских рамок и структур и после того, как на их месте не возникло ничего нового взамен организованной советской социальности, появилось новое массовидное общество. Оно возникло далеко не так и не такое, как на Западе. Мало кто из социологов говорит о нем добрые слова. Внутри такого общества произошло разрушение базовых социальных ролей, в частности мужской роли как фундамента семьи.

Местом приложения «мужского» труда теперь оказалась преимущественно военно-силовая сфера. Когда мы видим, как много в стране охранников или силовиков, надо понимать, что это не только экономическая проблема, но и

проявление гендерной драмы, умаления мужского начала. В обществе эта проблема частично компенсируется ростом силовых структур.

Отдельной драматической социальной темой оказалась судьба среднего класса. Существовал ли он в советское время или нет — вопрос дискуссионный. Мы обойдем его стороной. В постсоветское время начал быстро развиваться средний класс в его классических воплощениях. Это были новые самостоятельные хозяева, предприниматели, притом не те, на которых свалилась собственность, а те, кто сам поднимался, от земли, торгуя или производя, кто чувствовал себя хозяином. Это были люди с очень высокой самооценкой, они ни в чьей помощи не нуждались, все делали и сделали сами, включая самих себя.

С середины 90-х годов рост числа этих людей в стране остановился, с тех пор российский средний класс не растет. А тот формально определяемый класс, который образовался, растет, если измерять его по уровню потребления. Продажа автомобилей и прочих атрибутов среднего класса росла и растет. Кто же эти потребители? В основном «служивые люди», чиновничество, которое увеличивается в путинскую эпоху численно и занимает все больше социального пространства. У них особый вид занятости, особый род деятельности, без прямой связи между усилиями и вознаграждением: их труд и его оплата зависят от места в иерархии и от конъюнктуры на рынках нефти и газа. Там нет места для отношения человека к труду, нет места для трудовой этики, но при этом есть другая мощная этическая составляющая: эти люди осознают себя на службе у государства, они себя называют государственными людьми, или

даже государевыми (понятна игра слов).

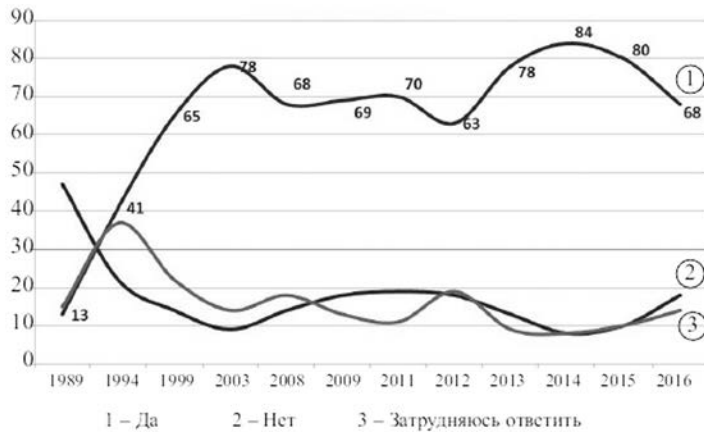
Обратимся вновь к историческому значению присоединения Крыма. Оно состоит в том, что народ большой страны, почти 150-миллионный, получил основания для подтверждения статуса, единственно, как он думает, подходящего для России в мире, — статуса великой державы.

По мнению россиян, великая держава может и должна вести себя так же, как ведет себя другая, несомненно, великая держава — США. США — великая держава, американцы делают буквально, что хотят: хотят — бомбят Югославию, хотят — устраивают еще что-то. Если и мы будем вести себя так же, мы докажем себе и всем, что мы — тоже великая держава. В этом смысле руководитель страны, дав согласие на присоединение Крыма, совершил действие, в полной мере совпадающее с помыслами десятков миллионов людей. Мы поступили так, как мы хотели, мы Америку не спросили. Возможно, в подобном дискурсе много детского, но ничего не поделаешь. Если Петр поднял Россию на дыбы, то Путин снова возвел ее на пьедестал величия.

С марта 2014 года по сегодняшний день за присоединение Крыма к России выступают почти 75% опрошенных граждан — эта доля стабильнее рейтинга Путина. Компромисс не принимается. Санкции Запада — мера, с точки зрения россиян, неадекватная; ради снятия санкций 67% наших граждан не откажутся от великодержавной политики. Только 22% готовы пойти на компромисс: коррекция политики в обмен на отмену санкций.

В таких обстоятельствах необходимо ощущение, что страна окружена врага-

Есть ли у России враги (в % от числа опрошенных)



Источник: Аналитический центр Юрия Левады

ми, и такое ощущение вполне сложилось. Надо сказать, что оно не всегда было столь очевидно. В 1989 году последствия падения Берлинской стены дезориентировали россиян. Вдруг показалось, что врагов у нас больше нет, что наш враг убежал или исчез. Но с некоторых пор восстановилась привычная ситуация. Страна переживает не лучшие времена своей до- и после-советской истории отношений с партнерами за рубежом. По разным причинам и с разной степенью взаимной неприязни. И что же? А ничего. Жить в изоляции и даже в блокаде оказывается вполне комфортно. Легкость, с которой обратились к риторике холодной войны активно или пассивно не только люди старшего поколения, но и их дети и внуки, которые про президентов Трумэна и Аденауэра даже не слышали, показывает, насколько это просто и при этом легкопереносимо. Гражданского общества в его классическом понимании наши опросы не обнаруживают. Людей, которые соответствуют жестким гражданским критериям примерно 2–3% населения, не

больше. Они есть, но на капиллярном уровне, они всегда существовали и существуют до сих пор. Именно на них направлен закон об НКО — иностранных агентах. Когда Левада-Центр попал в реестр иностранных агентов, у него был порядковый номер 141. Гораздо более ощутимо гражданское общество в Интернете. Интернет — держава, которая гораздо шире, чем любая отдельная страна, новая мировая держава, в которой можно найти все, что хочешь. При этом россияне живут в нем как анонимы. Быть там, участвовать в разных инициативах, но при этом быть невидимыми для властей — в этом большое преимущество Интернета. Возникает, однако, вопрос: эти люди только там и только так и могут существовать? Нет, порой они выходили в офлайн, когда случалась какая-то большая беда: наводнения, пожары, болезни детей, а сейчас — мусорные свалки. Когда наступает состояние, при котором все равно, что сделает власть, потому что случилось большое несчастье, люди выходят, это становится основой кратковременных гражданских объедине-

*Гражданская ответственность в России
(чувствую/не чувствую ответственность за происходящее,
в % от числа опрошенных)*



Источник: Аналитический центр Юрия Левады

ний, но большого эффекта от этого пока нет.

Существует еще одна форма гражданского общества. Те, кому приходилось участвовать в массовых выступлениях (Болотная и т.п.), знают, что внутри этих сообществ существует гражданское общество в его классической форме. Проявляются солидарность, равенство, демократические способы решения всех вопросов. Но заметим, что в российских условиях эти формы недолговечны: часы, дни, недели. Эти же люди быстро выходят из сообществ, и социальные связи прекращаются.

Не развилось чувство гражданственности. Притом что ответственность за происходящее в своем личном доме, как показывает наш опрос, высокая, около 70%, ответственность за положение дел в стране чувствуют единицы процентов. За дом отвечает ЖКХ, за город — другие люди, а за страну — сами знаете кто.

Исследования последнего времени показывают, что российское общество не возражает против закрепления страны на позициях торговца нефтью и оружием, ведущей холодную войну со своими геополитическими соперниками. Оно не видит и альтернативы

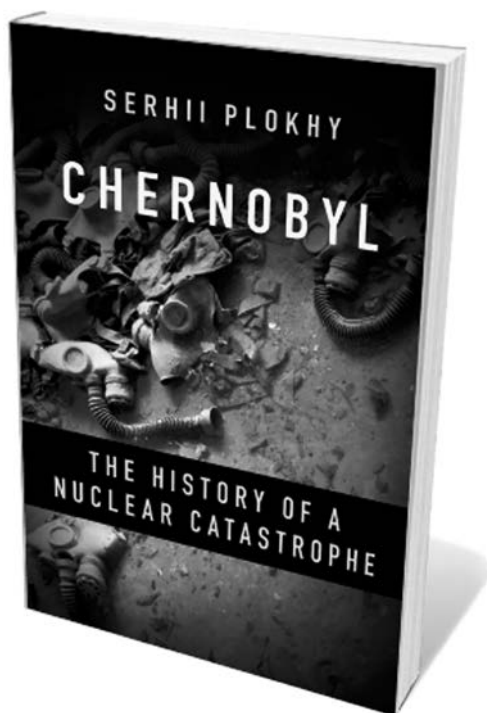
авторитарному политическому строю внутри страны, хотя негодует против коррупции и произвола чиновников, роста цен и ухудшения состояния среды. Предложенные ранее проекты перехода на путь свободного демократического общества требуют радикального пересмотра и обновления, чтобы завоевать поддержку общества в том его состоянии, которое существует сегодня, и особенно в том, какое будет завтра.

Будущее российского общественного и государственного развития требует научного и общественного обсуждения четырех основных вопросов. Какую роль и место может найти Россия в международном разделении труда? Может ли кардинально измениться характер политического режима при существующем руководстве? Может ли значительно измениться характер режима при возможных персональных изменениях в руководстве, или же правящие сегодня элиты этого не допустят? Есть ли в российском обществе крупные и влиятельные социальные силы, заинтересованные в смене социального и политического строя, какие это силы и какой строй они хотели бы установить на место нынешнего?

Чернобыль: чья это беда?

Serhii Plokyh. *Chernobyl: History of a Tragedy*. — London: Penguin Books, 2018. — 404 p.

Проблему, о которой я хотел бы сказать, приступая к этому обзору, с некоторой условностью можно назвать проблемой «непроговариваемости». Этим странно-ватым термином я обозначаю нежелание общества разбираться с травматическим опытом, пережитым когда-то, вечное стремление оставлять такую работу на потом, сторониться острых дискуссий, избегать окончательных оценок. В длинном ряду трагедий, оставшихся без осмысления в России, есть большие и малые — от ГУЛАГа и до Афганистана, от гибели подлодки «Курск» и до смертельного мюзикла на Дубровке. Причем непроговариваемость не надо путать с замалчиванием: никто не спорит с тем, что подводный ракетноносец утонул или что сотни людей отравились газом в московском театре — просто нет желания до конца выяснить, почему и как это произошло. Однако если что-то не продумано и не выговорено до конца, то в общественном сознании образуется лакуна. А дальше, подобно любым другим пустотам, такая лакуна чем-то заполняется: либо буйными химерами собственного изобретения, либо же версиями осмысления внутренней беды, рождаемыми на стороне, извне. Например, когда мы, россияне, не желаем выяснять истинные причины гибели «Курска», за нас это делают другие — и вот уже в большом прокате идет фильм о трагической гибели наших моряков с Колином Фертом в главной роли. Нечто похожее, кстати, получилось и с Чернобылем. Три года назад, в «круглую» годовщину радиационной катастрофы (апрель 1986), Российская Федерация —



между прочим, правопреемница Советского Союза, который так гордился своим «мирным атомом», — не обратила на скорбную дату почти никакого внимания. Но зато за рубежом об этой вехе вспомнили, отработав ее сполна. Рецензируемая книга — как и нашумевший сериал телеканала НВО «Чернобыль» — яркое подтверждение этого.

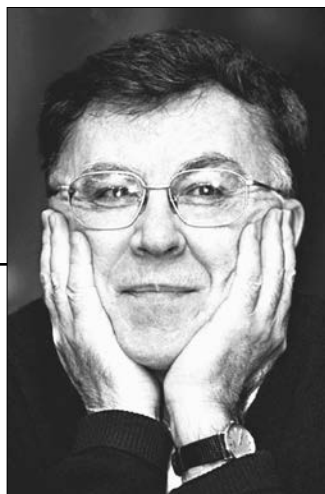
Сергей Плохий — американский историк, украинец по рождению. В США у него непоколебимая репутация выдающегося русиста, который написал уже несколько нашумевших работ о России. Исследование чернобыльской катастрофы было приурочено им к упомянутой выше скорбной дате: книга вскоре после нее. Автор работает как летописец, восстанавливая по дням, часам и минутам всю хронологию событий на Чернобыльской АЭС в апреле-мае 1986 года и набрасывая весьма яркие портреты главных действующих лиц. Разумеется, ему немного не хватает отстраненности от предмета своего исследования: ведь он заранее знает о том, что главным виновником трагедии был «коммунистический режим», и это предварительное знание довлеет над его пером, выталкивая его за ограду того поля, на котором, собственно, и должен трудиться историк. Тем не менее работа обстоятельна, хорошо выстроена и интересна даже для неспециалиста. Вполне отрадное общее впечатление немного испортили две особенности авторского подхода к теме. Во-первых, весь авторский замысел базируется на предпосылке, согласно которой подобного рода атомная беда могла случиться только на марксистско-ленинском Востоке. Иначе говоря, читателю предлагается считать Чернобыль проблемой конкретного общественно-политического строя. По моему мнению, однако, это верно лишь отчасти, потому что советская радиационная катастрофа была мотивирована не только изынами коммунистической политики — одновременно она стала явлением, указавшим на грандиозные недоработки в том способе освоения мира, который практикуется инструментально-рационалистической цивилизацией Запада, начиная с Нового времени. Чернобыльскую драму породили не коммунисты; точнее говоря, коммунистическая цивилизация лишь подражательно довела до абсурда технократические установки, давно вдохновлявшие и продолжающие вдохновлять Европу и Америку. И если это так, то Чернобыль теоретически мог произойти в любой стране, экспериментировавшей с ядерной энергетикой. Михаилу Горбачеву и Советскому Союзу просто очень и очень не повезло.

Второй дефект авторского взгляда можно считать неизбежным в силу происхождения автора. Сергей Плохий — украинский патриот, и потому ему трудно насовсем отказаться от тезиса, со времен перестройки сделавшегося для украинского националистического сознания подлинной идефикс: от представления о том, что насаждение на территории

Украины объектов атомной промышленности изначально и злонамеренно вредило его исторической родине. Иначе говоря, в анализе чернобыльской аварии подспудно присутствует схема, применяемая украинской историографией к осмыслению так называемого голодомора: взрыв реактора был не просто бедой, но бедой, на которую Украину и украинцев обрекли чуждые внешние силы — коммунистическая Москва и русские технократы. Но рассуждения такого типа концептуально слабы. Атомная энергетика пришла на украинскую землю как символ модернизации: без нее Украина не имела бы никаких шансов на встраивание в современность, навсегда оставшись пасторально-патриархально-крестьянским обществом. Кстати, наиболее дальновидные украинские интеллектуалы понимали это, защищая научно-технический прогресс, который насаждался, увы, большевиками-космополитами. Однако в годы перестройки чернобыльская трагедия была приватизирована украинскими (и белорусскими) националистами: они начали изображать ее не в качестве глобальной трагедии, но как местническую беду, вдруг обрушившуюся на одну этническую группу. Подобно многим другим националистическим теориям, эта концепция глупа. И обозреваемая здесь книга только выиграла бы, если бы ее автор уделил внимание этому обстоятельству, вместо того чтобы восхвалять подвиги националистов, которые смело эксплуатировали чернобыльскую тему, громя в конце 1980-х советскую Украину. Кстати, после обретения независимости националистические власти оставили всякие разговоры о «безъядерной Украине»: в стране по-прежнему функционируют несколько реакторов, и это неудивительно — без них остатки украинской экономики просто встали бы.

В заключение скажу, что моя деликатная критика отнюдь не ставит под сомнение многочисленные достоинства работы Сергея Плохия. Если бы ее перевели на русский язык, то наш читатель только выиграл бы от этого — именно потому, что о Чернобыле, как и о прочих лакунах нашей исторической памяти, нужно говорить и говорить.

Андрей Захаров



Юрий Сенокосов,
главный редактор журнала

Контрапункт

ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Либеральный лексикон. — Спб.: Нестор-История, 2019. — 184 с.

Когда-то в своей рецензии на первые изданные 12 томов «Словаря русского языка XI–XVII вв.» я писал, что слова, как люди, рождаются и живут по своим законам, и наше желание понять эти законы, когда идет речь о родном языке, естественно. Издание Словаря — явление уникальное. Оно позволяет читателю впервые познакомиться в таком объеме с прошлым современного русского языка, его богатством и особенностями, а специалистам открывает возможность обсуждения вопроса о развитии великорусского языка XIV–XVII веков. Характеризуя издание в целом, отметил как несомненное достоинство, что все значения приводимых в Словаре слов иллюстрируются, как правило, двумя цитатами, раскрывающими каждое значение и дающими представление о хронологических рамках употребления слова на основе всех известных науке памятников письменности древней и средневековой Руси. Первая цитата (со ссылкой на соответствующий источник) является ранней, вторая — поздней*.

Между тем на развитие русского языка, начиная с XVIII века, когда он стал обретать современные черты, в огромной степени повлияло, как известно, появление новых речевых контекстов, вызванных процессом общественного разделения труда и постепенно изменивших его словарный состав и синтаксис. Это происходило и раньше, но последствия наметившегося перелома в этот период оказались для языка,

* См.: Ю.П. Сенокосов. Словарь как источник знаний о мире / Философия и социология науки и техники. Ежегодник 1987. — М.: Наука, 1987. — С. 276–285.

безусловно, решающими. Помню, меня как читателя удивило в то время отсутствие в издаваемом Словаре таких слов, как *анализ, дискуссия, критика, мораль, атеист, литература, культура* и т.д.

Впрочем, и об этом тоже стоит сказать, в задачу составителей Словаря не входил анализ причин появления или исчезновения определенного слова. Нас же сегодня интересует скорее смысловая преемственность в жизни слов родного языка, поскольку любое слово живет в речевом контексте, который выявляет нередко скрытые лексические оттенки и смыслы языковых высказываний.

Поэтому появление книги «Либеральный лексикон» можно и нужно приветствовать. Ее авторы И.Б. Левонтина и А.Д. Шмелев рассматривают важнейшие понятия либерального дискурса и примыкающие к ним понятия: *свобода, демократия, плюрализм, справедливость, права человека, частная собственность* и др., их историю, начиная с XIX века, а иногда и с более раннего времени.

Почему это важно? Потому что взаимопонимание, возможность осмысленного общественного диалога, пишут авторы во Введении, определяются ясностью используемых языковых выражений. И эффективность либерального дискурса возможна только в том случае, если будут правильно выбраны ключевые понятия и выражающие их языковые единицы. Они подчеркивают при этом, что «в общественном дискурсе условности крайне нежелательны, следует опираться на естественные представления носителей языка о значении слов» (С. 11). То есть, по сути, обращают внимание читателя на то, как это происходило в Европе в процессе формирования либерального лексикона, ставшего со временем ее интеллектуальным вкладом (наряду с научно-техническими изобретениями) в создание современной цивилизации (глобального мегаполиса). Развитие институтов разделенной политической власти (законодательной, исполнительной) и судебной (прокурор, судья, адвокат) выполняло функцию цивилизующего начала.

Разумеется, в разных европейских, и шире — западных, странах это происходило в разное время по-разному, но, как правило, с опорой на общую складывавшуюся интеллектуальную (античную) и духовную (христианскую) традицию. И Россия не является исключением. Рецензируемая книга подтверждает это, позволяя лучше понять отечественный словарь, используемый в либеральном дискурсе. А именно — ответить прежде всего на вопрос, почему слово «либерализм» (от лат. *liberalis* — свободный), вошедшее в русский язык из французского в конце XVIII века, продолжает сохранять и сегодня негативный оттенок, но уже не вольнодумства, а скорее в значении «излишняя терпимость», «политика уступок» и т.п., тогда как в английском языке (и не только) это слово, также имевшее негативный оттенок, его утратило.

Известно, что наше познание начинается с чувства, или, согласно Канту, с априорных форм чувственности (пространства и времени).



И затем переходит на уровень рассудка, то есть упорядочения, анализа материала чувств на основе существующих понятий, и заканчивается в разуме, имеющем дело уже не с понятиями и анализом, а с идеями и синтезом.

Я напоминаю об этом, отвечая на поставленный вопрос, чтобы вернуться к сказанному авторами по поводу естественных представлений носителей языка о значении слов. Согласен, что именно на них следует опираться в общественном дискурсе, поскольку они конкретны и понятны. Однако успех познания обеспечивает не только рассудок, но и разум. Именно в разуме

заложено человеческое стремление к безусловному знанию, вытекающее из этических запросов и породившее естественный процесс разделения властей.

Что же касается России, то здесь стремление к безусловному знанию (которое достижимо только символически) в начале XX века развернуло идущий процесс разделения властей в сторону тоталитаризма. И сегодня, когда слово «свобода» ассоциируется с патриотизмом («отдать жизнь за свободу и независимость родины»), рассчитывать на либеральное разделение властей трудно. На фундаменте насилия ради безопасности, а не во имя свободы можно создать только авторитарное государство. А чтобы появилось правовое государство, нужна гражданская активность и понимание ценностей либерализма: смысла личной свободы и личной ответственности, разделения властей и децентрализации власти на основе принципов федерализма и местного самоуправления, частной собственности и прав меньшинств.

Статус этих ценностей, отмечают авторы книги, в общей системе либеральных взглядов различен. Теснее всего понятие «либеральный» связано с базовыми понятиями «свобода» и «права человека». «Поэтому для понимания особенностей восприятия либеральных ценностей носителями русского языка полезно обращаться к тому, как понятия свободы и прав человека преломляются в зеркале русского языка» (С. 14).

Приведу заключение авторов о их личном восприятии используемых в либеральном дискурсе слов и языковых выражений и отношении к ним: каждое из этих выражений «отягощено историей своего бытования в языке... Мы увидели, как по-разному люди понимают такие слова и сколь различные ассоциации эти слова у них вызывают. О *свободе и правах человека* рассуждали такие разные люди, как обер-прокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносцев и философ Владимир Соловьев, математик Александр Есенин-Вольпин, писатель Александр Солженицын и член Политбюро ЦК КПСС Александр Яковлев. Поразительно, как часто непонимание между людьми и даже

невозможность содержательного разговора обусловлены именно смысловой перегруженностью и неоднозначностью ключевых понятий» (С. 181).

Что же необходимо для достижения взаимопонимания?

Отвечая в конце книги на этот вопрос, авторы цитируют известного русского историка, философа и публициста Георгия Федотова (1886–1951). «Перед демократической культурой стоит задача необычайной трудности: *найти общий язык*, общую веру, не прибегая к насилию в духовной борьбе». И советуют «не забывать о лингвистическом аспекте проблемы, связанном с тем, что непонимание часто начинается уже на уровне словаря».

ЯЗЫК ОСМЫСЛЕННОГО ДИАЛОГА

Либерализм в XXI веке: Современные вызовы свободе и новые либеральные ответы / Фонд Фридриха Науманна; Экспертная группа «Европейский диалог»; Фонд «Либеральная миссия»; отв. ред. В.А. Рыжков. — М.: Мысль, 2019. — 371 с.

«Демократия — наихудшая форма правления, за исключением всех остальных», — сказал когда-то Черчилль. Наихудшая, как я понимаю, только в одном смысле: под демократией он имел, очевидно, в виду некое пространство, которое никто не имеет права приватизировать или национализировать целиком. Ни король, ни народ, ни партия, ни бизнес, потому что в условиях демократии есть место всем. Но эти «все», увы, далеко не всегда могут найти общий язык, чтобы договориться и перестать воевать, воровать, лгать, обижаться, мстить, не соглашаться. В результате появляются, как мы об этом знаем из сочинений Платона и Аристотеля, «дурные» формы правления (тирания, олигархия, охлократия) и «хорошие» (монархия, аристократия, полития). А среди «хороших» наилучшей является полития — совокупность умеренной олигархии и умеренной демократии. Или, другими словами, власть полноправных граждан, так как в античных демократиях полные права имел далеко не каждый человек и демократия не являлась властью народа. Демократия — это городская, полисного типа государственность (от др.-греч. πόλις, πολιτεία), а точнее, особая форма организации общества, в которой должностные лица выбирались гражданами путем голосования (прямая демократия) либо с помощью жребия, считавшегося проявлением воли богов.

Вопрос: может ли язык стать собственностью государства, то есть быть национализированным или приватизированным, как и демократия, и если да, то когда это произошло? Задаю этот вопрос после бурной кри-



тической реакции в соцсетях на слова Гасана Гусейнова, назвавшего русский язык «убогим и клоачным». И ответившего на критику в «Московском комсомольце» 30 октября, что «русский язык не является собственностью какой-либо этнической группы или государства».

Почему? Ведь известно, что главным объединяющим признаком нации является именно язык, который возникает одновременно с нацией и является ее творением. «Язык есть дыхание, сама душа нации», — говорил основоположник языкознания В. Гумбольдт. Именно национальный язык создает удобство для повседневной жизни каждого человека, читаем мы в Википедии, является

средством развития всех видов искусства, образования, науки, создания национальной культуры и ее передачи следующим поколениям. А раз так, то он, конечно, нуждается в защите, учитывая, что единство языка не поддерживается автоматически, само по себе, и эту функцию берет обычно на себя государство. А националистически настроенные граждане становятся борцами за его чистоту.

Между тем Гасан Гусейнов прав: чувство качества языка находит *свой путь* для его самосохранения в условиях «общественного неблагополучия и одичания». Будет ли это естественное вхождение в национальный язык латинского слова «либерал» или появление нового слова, обозначающего научное открытие, стилистическую особенность нового художественного или музыкального произведения и т.д. Как заметил один из участников сетевой дискуссии, язык живет своей жизнью в долгом времени, а «речь, т.е. процесс превращения языка в конкретные высказывания, она ведь у нас и правда примитивизирована» (Михаил Немцев). Поэтому, добавлю, что в отличие от языка речь национализируют и приватизируют. А язык, живущий по законам любознательности и додумывания человеком до конца, что его действительно интересует, приватизировать невозможно. Пространство языка — это пространство и время свободы, благодаря которой человек выражает свою человечность, настаивая на существовании либеральных ценностей.

Этому фактически и посвящена книга «Либерализм в XXI веке: Современные вызовы свободе и новые либеральные ответы», в подготовке которой приняли участие более 70 экспертов из России и европейских стран.

Книга необычная: она создавалась на основе серии семинаров, проведенных в Москве в 2017—2018 годах по инициативе российского либерального политика, профессора НИУ ВШЭ, историка Владимира Рыжкова и Юлиуса фон Фрайтага-Лорингховена, главы московского офиса немецкого либерального Фонда Фридриха Науманна.

Всего состоялось 13 семинаров, каждый из которых был посвящен одной из ключевых проблем либеральной политики. При этом было отобрано 11 острых проблем современности, которые авторы называют вызовами для современного либерализма: кризис либеральной демократии; кризис социального государства; либерализм и национализм; кризис экономического развития; централизация и децентрализация; либерализм и Интернет; либерализм и миграция; права человека — вызовы XXI века; либерализм и культура; либерализм и религия; либеральный подход к кризису глобального миропорядка.

Эти проблемы, естественно, формируют дискуссионное пространство и для тех, кто ведет на либерализм наступление с позиций авторитаризма, национализма, ксенофобии, милитаризма, этатизма, протекционизма, популизма. Заданный участниками дискуссий и авторами книги контекст для анализа и понимания *современного* кризиса мирового миропорядка не является принципиально новым. Однако его актуальность сегодня — в масштабе и количестве вызовов всему человечеству, когда традиционные проблемы зла и добра, свободы и безопасности, то есть самой жизни, приобрели глобальный характер. До этого в истории Европы разными странами уже не раз предпринимались усилия для поиска модели мира и безопасности, начиная с Вестфальского соглашения, которое подвело итоги Тридцатилетней войны, закончившейся в 1648 году, и кончая Ялтинско-Потсдамской системой международных отношений, сложившейся по итогам Второй мировой войны.

Вспомним сказанное Михаилом Жванецким о зле и добре.

«Зло конкретно, четко, ясно. Зло всегда с цифрами в руках... Зло материально понятно, ясно и легко овладевает массами. Толпа не побежит в больницу перекладывать больных и мыть полы. Но мгновенно сорвется бить людей и поджигать дома. Зло рождается вместе с ребенком, колотит, бьет, щипает. И только постепенно в душу входит его противоположность. Добро накапливается. От услышанного. От увиденного. От прочитанного. Оно требует нежной мамы и времени. Оно складывается по словам, по поступку, по страничке. Оно идет от тех, кто через это прошел и сам понял, что погасить полезнее. Не вспылить, не бросить злое слово... Неправота твоя не в слове, а в злости. Добро твое накапливается всю жизнь и всего лишь достигает уровня, достигнутого другими. Поэтому так мало изменений в морали за века. Добро полностью не передается. Ему нельзя обучить. Злу можно. Зло передается. А накопленное добро умирает с каждым. И все начинается снова...

Характер человека не зависит от науки, потому что наука его не совершенствует. Человек в прямой связи с добром и злом». Авторы книги убеждены, что лучшей альтернативы, чем либерализм, для человечества в XXI веке не существует. Об этом свидетельствует, в частности,

по словам известного журналиста Андрея Солдатова, появление Интернета, ставшего не просто частью нашей жизни, но и значимым фактором производства, торговли, культуры, личной жизни. Однако «налицо феноменальное явление: общество и государство пока не готовы — к счастью, сказал бы либерал, к сожалению, сказал бы консерватор — с этой новой средой работать» (С. 179). Но либералы при этом, естественно, за свободу Интернета, признавая одновременно обоснованность опасений государства в связи с использованием в Сети террористами, педофилами, уголовниками.

Должно ли общество в таком случае делегировать государству долю ответственности в регулировании Интернета для защиты общественного блага и общественной безопасности и если да, то какую? Должно ли это делать отдельное национальное государство или международное сообщество?

Иными словами, как можно, с точки зрения либералов, сочетать свободу и безопасность, учитывая уже появившийся в Интернете монополизм? Когда в руках трех ведущих мировых производителей смартфонов и основных продавцов интеллектуальных устройств, как утверждают специалисты, больше власти, чем у 90% глав государств. Ответ: «Свои усилия в борьбе за свободу слова мы должны сосредоточить в том сегменте Интернета, который связан с политикой, общественными дискуссиями, общественными расследованиями. Нашим приоритетом должна стать борьба с политической цензурой» (С. 204).

На мой взгляд, это один из самых актуальных и важных ответов на вызовы свободе в XXI веке, если не забывать, что Интернет вошел в нашу жизнь как пространство свободы.

Либеральный лексикон интереснее и богаче академического Словаря, потому что он подсказывает нам и помогает понять, как и по поводу чего мы мыслим. Например, что такое управление и что означают производные от него слова «управлять», «править», «исправлять», «направлять»? Почему столько слов, характеризующих «Что?» — наше действительное знание и понимание термина «право», вошедшее когда-то в либеральный лексикон?

Почему, когда мы начинаем говорить о свободе, сразу вспоминаем о безопасности. Или говорим о жизни и невольно думаем о здоровье. Очевидно, полагая, что здоровье и свободу обеспечит кто-то другой, например государство. Как выйти из этого круга надежды и безответственности перед собственной Свободой?

Кубинский проект

Примерно месяц назад я получил от близких друзей, переводчиков Ксаны и Саши Казачковых записку и текст, прочитава который, решил его опубликовать. Думаю, читателю этот текст тоже будет интересен.

Дорогой Юра,

ию текст перевода на русский язык письма столетней давности некоего парижского делового персонажа в адрес Эмилио Бакарди, основателя известной фирмы по производству кубинского рома и на тот момент мэра кубинского г. Сантьяго. Письмо попало мне в руки на одном книжном развале.

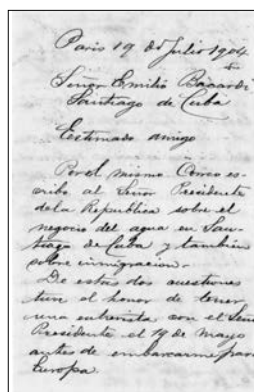
Письмо, кажется, любопытное с многих точек зрения, оно, скорее всего, нигде не опубликовано, поскольку есть только его бу- мажный оригинал на испанском.

Адресат письма **Эмилио Бакарди Моро** (1844–1922), кубинский писатель, промышленник и политик. Продолжал дело своего отца, Факундо Бакарди, основателя всемирно известной фирмы по производству рома. Поддерживал борьбу кубинского народа за независимость от испанской короны, сотрудничал с революционером Хосе Марти в Нью-Йорке. После испано-американской войны 1898 года был назначен американским военным губернатором Вудом на пост мэра Сантьяго-де-Куба, второго по значению города страны, в 1902 году переизбран на пост мэра после победы на выборах, где он набрал 61% голосов. С 1906 года член сената Республики Куба. В бытность мэром благоустроил родной город: в частности, электрифицировал и вымостил его улицы, основал знаменитый, первый в стране музей — музей Бакарди. Писал романы, пьесы, автор десяти томной истории города Сантьяго-де-Куба.

Упоминающийся в письме сеньор Президент — первый президент независимой Республики Куба Томас Эстрада Пальма (1835–1908).

Автор письма некто Ш. Клемансо(!?) (копию прилагаю). По всей видимости, к знаменитому французскому политику Жоржу Клемансо он отношения не имеет. Если кто-то из ваших французских друзей или будущих читателей письма поможет в поисках и определении личности автора, было бы чудесно. Пока же для меня авторство письма — загадка.

Шлю также плохонькую фотографию Бакарди из Интернета. Если будут еще вопросы — постараюсь посылить помочь.



Крепко обнимаем!
Ваши Ксана и Саша

Париж, 19 июля 1904 г.
 Господину Эмилио Бакарди,
 Сантьяго-де-Куба

Уважаемый друг!

С этой почтовой оказией я пишу также господину Президенту Республики о выгодном предприятии по водоснабжению Сантьяго-де-Куба, а также об иммиграции.

По этим двум вопросам я имел честь встречаться с господином Президентом 14 мая перед моим отплытием в Европу.

Резюмирую то, о чем я ему пишу.

Я встречался с банкирами, которые готовы договориться со строителями сооружений общественного назначения в Вашем городе и таким образом соорудить новый водопровод и привести в порядок старый водопровод на определенных условиях оплаты.

Старый водопровод будет приведен в надлежащее состояние и, если условия местности позволят, будут построены *водоочистные сооружения* или резервуары для фильтрации воды перед поступлением в трубы.

На расстоянии многих километров вокруг Сантьяго-де-Куба будут проведены исследования для изыскания водосточков и источников и сооружения запруд, правительство выкупит эти земли у владельцев, они будут огорожены и взяты под охрану (как это делается в Европе), и из всех этих небольших водоемов вода будет поступать по трубам в более крупные водохранилища для очистки перед отправкой потребителю.

В каждом доме во избежание чрезмерного расхода будет установлен счетчик воды, и те, кто расходует меньше, не будут платить столько же, сколько потребители, использующие воду для

различных целей и в больших объемах. Данные счетчики могут быть установлены для обоих водопроводов или только для нового водопровода, вода из которого, благодаря своей чистоте, будет использоваться только как питьевая. Таким образом, вода из старого водопровода направляется на общественные нужды и будет служить главным образом для полива улиц, садов, тушения пожаров, для ваннных и туалетных комнат, в общем, для вспомогательных нужд, а вода из нового водопровода — исключительно для питья и целей, когда потребна чистая вода, а именно для приготовления льда, пивоварения, сифонов и прочего.

В случае выхода из строя одного из двух водопроводов до починки неисправного всегда будет оставаться один исправный водопровод.

Кроме того, в бедных кварталах на определенных перекрестках будут установлены гидранты, какие имеются в Париже, то есть водоразборные колонки или краны с рычагом, дабы бедные жители могли набирать очищенную воду (из нового водопровода) в бочки или бутылки, в случае если хозяин дома, где они проживают, не пожелает нести дополнительные расходы на подводку двух труб — из старого и нового водопроводов.

Для оплаты данных работ вновь создаваемой компании можно, по мнению строителей, действовать следующим образом:

1. Правительство оплатит работы по изысканиям и составлению чертежей силами инженеров (или инженера, который будет туда направлен).
2. Половина стоимости работ будет возмещаться по мере их исполнения, а другая половина — в срок не более пяти

лет, за счет векселей и долговых расписок с разбивкой по кварталам или полугодиям по ставке 5–6 % от суммы займа до полного ее погашения. Эти векселя будут предъявляться в Государственное казначейство в заранее оговоренные (по каждому векселю) сроки для их погашения. На мой взгляд, это вполне приемлемые условия для обеспечения добротного и долговечного результата работы. Так поступает Мексиканская республика для оплаты огромного объема работ, производимых иностранными компаниями в этой стране.

Я также имел беседу с господином Президентом о направлении на Кубу иммигрантов, исключительно семей в составе отца, матери и не менее двух детей, которые прибудут из пунктов, определяемых секретарем по вопросам иммиграции, из Испании и с Канарских островов, давших наилучшие результаты.

У нас в городе имеются банкиры, готовые создать компании с необходимым капиталом на следующих условиях:

1. Правительство обязуется возместить издержки за каждого иммигранта плюс выплатить определенное вознаграждение или дополнительные проценты для покрытия расходов на содержание в Европе контор, врачей, сотрудников в пунктах набора иммигрантов.

2. Издержки на проезд каждого иммигранта от места пребывания до порта отплытия, на проезд от данного порта до Кубы и от порта прибытия до места поселения.

Таким образом в течение многих лет и до сих пор поступают в Мексике, а также в Аргентинской республике и Бразилии.

3. Правительство выделит безвозмездно на условиях выплаты в срок до десяти лет (в счет ежегодных платежей) зе-

мельные участки для обустройства поселений, равно как и частные лица, располагающие участками, обеспеченными водой и находящимися недалеко от линии железной дороги или морского порта. Означенные участки могут быть разбиты на мелкие наделы для их продажи иммигрантам.

Как только правительство даст мне добро на прибытие иммигрантов на изложенных выше условиях, соответствующая компания будет учреждена в течение нескольких дней, и я лично поеду в Испанию и на Канары для изучения деловых вопросов, откуда отправлюсь на Кубу для осмотра участков, подходящих для обустройства поселений.

Если полномочия будут получены мною в октябре, первые поселенцы прибудут на Кубу в начале января. Компания обязуется организовать приезд (в зависимости от фондов, выделенных правительством) не менее 3000–5000 человек в год, вплоть до 20 или 25 тысяч в год, в зависимости от решения правительства.

В 1881 году, когда я побывал в Буэнос-Айресе, там насчитывалось всего 450 000 жителей, а ныне их численность приближается к миллиону, все это благодаря деятельности иммиграционных компаний.

Таковы, в общих чертах, положения моего письма в адрес господина Президента Республики. Посему, если Вы, в свою очередь, окажетесь в Гаване ранее октября, повидайтесь, пожалуйста, с Президентом, сенаторами и депутатами, дабы они решили что-то относительно водоснабжения в Сантьяго, а также иммиграции. Здесь капиталов более чем достаточно — и в Депозитной кассе, и на текущих счетах, и в сберегательных кассах имеется более миллиарда двухсот

миллионов песо, по которым начисляется всего 3–3½%. Это — не считая средств Банка Франции и десяти-двадцати более мелких банков с капиталом от 60 до 200 миллионов франков.

Надеюсь, письмо сие застанет Вас в добром здравии и вскоре я получу от Вас обнадеживающие известия.

Остаюсь Вашим другом и покорным слугой,

Ш. Клемансо

Рю де Риволи, 186

либо Рю Камбон, до востребования

P.S. Я имел беседу с директором весьма крупной компании, которая занимается исключительно строительством линий электрических трамваев.

Не уточняя, где конкретно на Кубе планируется прокладка линии, я получил от него просьбу задать следующие вопросы:

1. На какую длину в метрах рассчитана данная линия, предполагается ли линия с подвесным (воздушным) кабелем или по американской системе Томсона-Хьюстона.

2. Сколько светильников потребуется для уличного освещения, по какой цене их могут оплачивать муниципальные власти.

3. Сколько светильников следует подключить в частных домах, по какой цене будет оплачиваться каждый светильник; также возможна установка системы для сжигания мусора в целях сокращения расходов муниципальных властей на эту статью и исключения данного очага инфекции.

4. Кто оплатит эти работы и какие гарантии готово дать правительство или муниципалитет. В общем, прошу направить мне все сведения относительно данного предприятия.

Здесь имеются частные компании, которые занимаются исключительно деятельностью такого рода. Соответственно, если Вы направите мне подробные сведения относительно состояния рынка, скотобойни или хладобойни, требующей реконструкции, мощения улиц, прокладки канализации, асфальтирования и прочего, а главное о том, кто отвечает за оплату работы таких компаний, я навел бы здесь справки у тех, с кем можно договориться о подобных работах.

Разумеется, при возможности получения концессий, записывайте их на мое имя, поскольку дела с компаниями буду вести я, и именно я выберу серьезные и лучшие из них. Сии компании не намерены направлять своих инженеров, не будучи уверены в возможности покрытия расходов в случае, если им не предоставят право производства работ.

Уверяю Вас: здесь предостаточно денег и знающих людей для любого рода работ, а потому Австрия, Италия, Испания, Португалия, Китай, Румыния, Россия и даже сама Англия обращаются к Франции с просьбой о том, чтобы французские инженеры вели определенные работы, в которых они являются специалистами. Когда у Вас появятся сведения относительно работ, которые необходимы в порту Сантьяго-де-Куба, направьте их мне с максимумом деталей, а также уточнения о том, кто будет оплачивать работы и на какое время дается концессия.

Простите за столь офранцузенное письмо: я редко веду переписку по-испански.

*Перевод с испанского
Александра Казачкова*

Погружение во французскую общественную жизнь

В начале октября я принял участие в семинаре, организованном Министерством иностранных дел Франции и Ассоциацией школ политических исследований при Совете Европы. Встреча в Париже была посвящена роли гражданского общества и партисипативной демократии во Франции.

Эта поездка позволила мне понять, как устроено взаимодействие общества и власти во Франции, как работает местное самоуправление и как добиваются своих целей общественники и НКО.

Это был очень важный для меня опыт, так как я являюсь муниципальным депутатом одного из районов Москвы уже в течение семи лет. К сожалению, в моем родном городе одна из самых малополномочных систем органов местного самоуправления. Тем интереснее было увидеть иную систему в одной из самых развитых стран Европы.

В *первый день* была лекция преподавателя Католического института Парижа Софи Энос-Аттали, посвященная институтам и обществу Франции. В этой стране высокая вовлеченность населения в общественную жизнь. Причем влияние на принятие решений французы оказывают не только за счет участия в политических партиях, но также через профсоюзы и иные гражданские организации. Чуть позже была презентация «Движения Ассоциаций» от Фредерики Пфрундер и Марион Буано. Во Франции свыше полутора миллионов ассоциаций на 67 миллионов жителей. Ассоциации создают все — от защитников животных до спортсменов. Для их регистрации достаточно хотя бы двух граждан и официального заявления. Надо признать, что многие из ассоциаций существуют только на бумаге. Тем не менее подобный подход стимулирует развитие гражданского общества. Также упрощена регистрация политических партий. Чуть позже мы также побывали в Высшем совете ассоциаций.



*Алексей Гусев,
депутат Совета депутатов
муниципального округа
Черемушки, Москва*

Во *второй день* мы посетили Йенский дворец, пообщавшись с представителями экономического, социального и экологического советов, а также французского форума молодежи. Там удалось ознакомиться с системой работы касс взаимопомощи, а также с устройством социальной помощи во Франции. Здесь традиционно сильны левые позиции, поэтому приоритет отдается защите трудовых интересов граждан.

Профессор политических наук Доминик Андольфатто рассказал о движении профсоюзов. Во Франции есть семь основных ассоциаций профсоюзов, конкурирующих друг с другом. На сегодняшний день это одни из самых влиятельных организаций в стране. Им удалось добиться улучшения условий труда, намного более комфортных для работника, чем где бы то ни было. Во Франции работодателю почти невозможно добиться увольнения члена профсоюза (хотя не уверен, что это положительно сказывается на экономике).

Настоящим открытием в *третий день* семинара для меня была поездка в небольшой город Баньё, расположенный в пригороде Парижа, где мы посетили местный муниципалитет. Здесь есть настоящее местное самоуправление с полноценным бюджетом, сложенным из местных налогов без государственных субсидий. Все 800 работников бюджетной сферы города являются сотрудниками муниципалитета — от дворника до секретаря. Местный совет имеет полномочия не только (и не столько) в сфере благоустройства, но также и заведует вопросами транспорта, застройки. Баньё недавно добился проведения в город ветки парижского метро. Значительную часть деятельности занимает социальная помощь. Сам муниципалитет даже предоставляет жилье малоимущим гражданам.

На 40 000 жителей города приходится 39 депутатов, из которых 32 — коммунисты и социалисты. Город считается одним из самых бедных в департаменте Иль-де-Франс, поэтому левая направленность избирателей неудивительна. Стоит взять на заметку избирательную систему французов в местные органы власти. Мэр города (аналог нашего главы муниципального округа) избирается из числа депутатов, однако ситуация, когда депутаты не могут найти консенсус по вопросу его выбора, исключена. 20 из 39 мандатов определяются по пропорциональной системе: победившая партия автоматически получает 20 мест, а мэром становится первый кандидат в этом списке. Остальные девятнадцать мест определяются по мажоритарной системе, то есть выборы проходят также в округах. Таким образом, в любом созыве обязательно складывается правящая коалиция. Эта система выборов очень интересна, но, боюсь, что в российских реалиях она только упростит победу «Единой России» в условиях отсутствия иных развитых политических структур, фальсификаций и административного ресурса.

Тема вовлечения общества в политику была продолжена на *четвертый день* в рамках выступлений профессора Бенедикт Мадлен и Карин Клеман, рассказавшей о движении «желтых жилетов». Вопрос топливного налога вывел на улицу самые незащищенные слои французских

граждан, желавших заявить о необходимости с собой считаться. Это движение поражает хотя бы тем, что не утихает уже год. Также в тот день мы были приняты в МИД Франции, где ознакомились с принципами взаимодействия наших двух стран. Было очень приятно увидеть живой интерес французов к России.

Вице-президент ассоциации «Альтернативы для городских проектов» подробно рассказал о такой насущной проблеме, как реновация, во Франции. В 1960–1970-е годы в Париже начался резкий приток мигрантов из бывших колоний и бедных регионов страны. Правительство приняло решение о переселении их из бараков в социальное многоэтажное жильё, в котором предполагалось селить мигрантов и местное население попеременно — для ускорения их социализации. Эти многоэтажки строились практически без инфраструктуры — школ, больниц и поликлиник. Очень быстро районы типовой высокоэтажной застройки превратились в гетто, куда не всегда решалась приезжать даже полиция. Коренные парижане покидали эти дома, а дети мигрантов никак не адаптировались, не посещая школы и вырастая в криминогенной обстановке. С начала XXI века было принято принципиальное решение начать снос высокоэтажных кварталов, обеспечивающих высокую скученность людей в одном месте. Как показывает практика, подобные кварталы быстро становятся гетто. Этих людей теперь переселяют в небольшие дома в 3–5 этажей.

В *пятый день* мы ознакомились с работой одной из французских «режи» (аналог российского ТОС — территориального общественного самоуправления). В отличие от России такой вид самоуправления довольно распространён во Франции: жители берут в свои руки управление своей территорией, администрируя всю хозяйственную деятельность. Причем, что любопытно, «режи» создаются в том числе и в неблагоприятных районах города.

Под конец мы посетили экологов из организации Zero Waste (любопытно, что это первое англоязычное название организации во Франции, которое я встретил, — французы очень трепетно относятся ко всему, что связано с их языком). Организация пропагандирует переработку отходов и экономию ресурсов. Движение экологов является одним из самых авторитетных и многочисленных в Париже. Это было погружение во французскую общественную жизнь, я сумел почерпнуть много нового в области МСУ и работы общественных организаций. Конечно, Франция — далеко не идеал в моих глазах. Невозможно не заметить крайне сомнительную миграционную политику властей (в ряде районов Парижа бывшие жители колоний давно стали большинством, не желающим адаптироваться к местным традициям), ужасное экологическое положение города (на Марсовом поле бегают крысы, а общественные места удивляют разнообразием «непарфюмерных» запахов). В Париже очень много бездомных, государство не занимается лечением душевнобольных людей. Но все же это страна иной политической реальности — свободы, где жители могут почувствовать себя гражданами.

CONTENTS
№ 3–4 (77) 2019

TO OUR READER

<i>Yuri Senokosov</i>	5
-----------------------------	---

THEME OF THE ISSUE

The Idea of Europe <i>Vladimir Malakhov</i>	7
A Globalized World: Emotions, Interests, Values <i>Peter Switalski</i>	19
Civic Enlightenment: A Public Space <i>Lena Nemirovskaya, Irina Prokhorova, Alexei Makarkin, Andrei Kolesnikov, Grigori Yudin, Maxim Goryunov, Alexander Shmelev</i>	27

CHALLENGES AND THREATS

When Law-Enforcement Bodies in Liberal Democracies Get Out of Control <i>Inna Berezkina</i>	36
Decline of Liberalism. What Is To Be Done? <i>Timothy Garton Ash</i>	40
Split of the Middle Class <i>Andrei Kolesnikov</i>	48

DISCUSSION

Overcoming Controversy on a Divided Continent <i>Michael Mertes</i>	53
Self-Limitation of the Government as a Moral and Personal Choice <i>Leon Aron</i>	63

ECONOMY AND SOCIETY

Nordic Model — The Case of Sweden <i>Michael Sohlman</i>	70
Business. Responsibility. Trust <i>Serguei Petrov</i>	79

CIVIL SOCIETY

Future of Freedom and Opposition in Russia <i>Vladimir Ryzhkov</i>	86
Civil Society Appears and Disappears <i>Alexei Levinson</i>	101

Civic Education in the History of Russian Social and Political Thinking <i>Alexander Sogomonov</i>	108
A VIEWPOINT	
Memory Wars <i>Serguei Medvedev</i>	146
Time for Memory <i>El'mira Nogoybaeva</i>	159
HORIZONS OF UNDERSTANDING	
The Impossible Trilemma: Sovereignty, Globalization, and Democracy <i>Robert Skidelsky</i>	162
ANNOUNCEMENT	
Transformation of the Russian Sociality in 1991–2018 <i>Alexei Levinson</i>	172
BOOKS	
Chernobyl: Who Is To Blame? <i>Andrey Zakharov</i>	179
Counterpoint <i>Yuri Senokosov</i>	182
NOTA BENE	
Cuban Project <i>Alexander Kazachkov</i>	189
Immersion into the French Social Life <i>Alexei Gusev</i>	193

СОДЕРЖАНИЕ
журнала «Общая тетрадь» за 2019 год

Сенокосов Юрий
К читателю (№ 1–2; 3–4)

СЕМИНАР

Николаидис Калипсо
Вильямс Ширли
Ллойд Джон
Какое будущее ждет Европу? (№ 1–2)

БЕРЛИНСКИЙ ФОРУМ

Волков Денис
Очень важно искать общий язык
(№ 1–2)

Гомар Тома
Вызов для всех нас (№ 1–2)

Лалюмьер Катрин
Европейский дух — дух открытости
и свободы (№ 1–2)

Ламмерт Норберт
Возвращение к демократии?
(№ 1–2)

Лойдквист Фредрик
Демократия, верховенство права,
права человека (№ 1–2)

Минаков Михаил
Политические системы в Восточной
Европе и противоречия публичного
и социального (№ 1–2)
Дискуссия (№ 1–2)

ТЕМА НОМЕРА

Гражданское просвещение: публичное
пространство (№ 3–4)

Макаренко Борис
«Мы выбираем, нас выбирают...»
(№ 1–2)

Малахов Владимир
Идея Европы (№ 3–4)

Свитальский Петр
Глобальный мир: эмоции, интересы, цен-
ности (№ 3–4)

ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ

Березкина Инна
Когда правоохранительные органы
выходят из-под контроля в либеральных
демократиях (№ 3–4)

Бильдт Карл
Россия и Европа после распада СССР
(№ 1–2)

Гартон-Эш Тимоти
Упадок либерализма. Что делать?
(№ 3–4)

Колесников Андрей
Раскол среднего класса (№ 3–4)

ДИСКУССИЯ

Арон Леон
Самоограничение власти как моральный
и персональный выбор (№ 3–4)

Мертес Микаэль
Преодолевая разногласия на разделенном
континенте (№ 3–4)

ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО

Сульман Михаэль
Нордическая модель — пример Швеции
(№ 3–4)

Петров Сергей
Бизнес. Ответственность. Доверие
(№ 3–4)

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Колесников Андрей
Три фронта «общества граждан»:
усиление конфликтности (№ 1–2)

Левинсон Алексей

Гражданское общество появляется
и исчезает (№ 3–4)

Рыжков Владимир

Будущее свободы и оппозиции в России
(№ 3–4)

Согомонов Александр

Гражданское образование в истории
отечественной общественно-политической
мысли (№ 1–2; 3–4)

ОБЩЕСТВО И СМИ

Лийк Кадри

Объективность журналистики (№ 1–2)

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Ирисова Ольга

Хочешь мира — готовься к миру (№ 1–2)

Липский Андрей

«Крымская пятилетка» (№ 1–2)

Медведев Сергей

Войны памяти (№ 3–4)

Ногойбаева Эльмира

Время памяти (№ 3–4)

Рыжков Владимир

Гражданское общество после 2018-го:
есть ли шанс? (№ 1–2)

ГОРИЗОНТЫ ПОНИМАНИЯ

Блейк Л.Л.

Правление (№ 1–2)

Скидельски Роберт

Неразрешимая политическая трилемма:
суверенитет, глобализация и демократия
(№ 3–4)

НАШ АНОНС

Бунин Игорь

Выборы Макрона, или Выбор Франции:
французская политика в 2017–2018 годах
(№ 1–2)

Левинсон Алексей

Трансформации российской социальности
в 1991–2018 годах (№ 3–4)

Макаркин Алексей

Люди казенного века (№ 1–2)

КНИГИ

Захаров Андрей

Дорога к несвободе (№ 1–2)

Захаров Андрей

Чернобыль: чья это беда? (№ 3–4)

Рыжков Владимир

Контрапункт (№ 1–2)

Сенокосов Юрий

Контрапункт (№ 3–4)

NOTA BENE

Гусев Алексей

Погружение во французскую
общественную жизнь (№ 3–4)

Жилякова Екатерина

Несколько вопросов самому себе
(№ 1–2)

Конрад Леон

Если в вашей работе есть правда,
добродетель и красота (№ 1–2)

Казачков Алексей

Кубинский проект (№ 3–4)

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Главная тема:

ФИЛОСОФИЯ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ

Наши авторы:

Андрей Захаров

Вадим Карастелев

Бобо Ло

Анатолий Михайлов

Нил Муйжниец

Фрэнсис О'Доннелл

Марко Полити

Владимир Рыжков

Александр Согомонов

Ютта Шеррер

Лев Шлосберг

Константин фон Эггерт

Подписано в печать 12.11.2019.

Формат 70×108/16.

Усл.-печ. л. 12,5.

Тираж 500 экз.

Заказ №

Школа гражданского просвещения

107031 Москва,

ул. Петровка, д. 17, стр. 1

<http://www.civiceducation.ru>

ISBN 978-5-93895-125-9